

ФЕДОР АБРАМОВ

Проза
Русского
Севера



Вокруг да около

Федор Абрамов
Вокруг да около (сборник)

«ВЕЧЕ»
1961-1974

Абрамов Ф. А.

Вокруг да около (сборник) / Ф. А. Абрамов — «ВЕЧЕ»,
1961-1974

ISBN 978-5-4484-7826-0

Федор Александрович Абрамов – русский советский писатель, один из наиболее известных представителей «деревенской прозы», признанный еще при жизни классиком русской литературы. Его произведения многие годы служили «духовными маяками» для нескольких поколений россиян. Повести, представленные в данном издании, рассказывают о судьбах русских людей, о русской деревне, но это не просто истории жизни, это более всего истории характеров, рассказы о том, как меняются в человеке жизненные и нравственные ценности на протяжении нескольких десятилетий.

ISBN 978-5-4484-7826-0

© Абрамов Ф. А., 1961-1974

© ВЕЧЕ, 1961-1974

Содержание

Деревянные кони	6
Пелагея	22
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Федор Абрамов

Вокруг да около

© Абрамов Ф. А., наследники, 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Деревянные кони

О приезде старой Милентьевны, матери Максима, в доме поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к нему.

Сам Максим, например, довольно равнодушный к своему хозяйству, как большинство бездетных мужчин, в последний выходной не разгибал спины: перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома, разделал на чурки с весны лежавшие под окошками еловые кряжи и наконец, совсем уже в потемках, накидал досок возле крыльца – чтобы по утрам не плавать матери в росяной траве.

Еще больше усердствовала жена Максима – Евгения.

Она все перемыла, перескоблила – в избах, в сенях, на вышке, разостлала нарядные пестрые половики, до блеска начистила старинный медный рукомойник и таз.

В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И все-таки приезд старухи был для меня как снег на голову.

В то время, когда лодка с Милентьевной и ее младшим сыном Иваном, у которого она жила, подошла к деревенскому берегу, я ставил сетку на другой стороне.

Было уже темновато, туман застилал деревенский берег, и я не столько глазом, сколько ухом угадывал, что там происходит.

Встреча была шумной.

Первой, конечно, прибежала к реке Жука – маленькая соседская собачонка с необыкновенно звонким голосом, – она на рев каждого мотора выбегает, потом, как колокол, загремело и заухало знакомое мне железное кольцо – это уже Максим, трахнув воротами, выбежал из своего дома, потом я услышал тонкий плаксивый голос Евгении: «О, о! Кто к нам приехал-то!..», потом еще, еще голоса бабы Мары, старика Степана, Прохора. В общем, похоже было, чуть ли не вся Пижма встречала Милентьевну, и, кажется, только я один в эти минуты клял приезд старухи.

Мне давно уже, сколько лет, хотелось найти такой уголок, где бы все было под рукой: и охота, и рыбалка, и грибы, и ягоды. И чтобы непременно была заповедная тишина – без этих принудительных уличных радиодинамиков, которые в редкой деревне сейчас не гремят с раннего утра до поздней ночи, без этого железного грохота машин, который мне осточертел и в городе.

В Пижме я нашел все это с избытком.

Деревушечка в семь домов, на большой реке, и кругом леса – глухие ельники с боровой дичью, веселые грибные сосняки. Ходи – не ленись.

Правда, с погодой мне не повезло – редкий день не выпадали дожди. Но я не унывал. У меня нашлось еще одно занятие – хозяйский дом.

Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре: изба-зимовка, изба-лестница, вышка с резным балкончиком, горница боковая. А кроме них были еще сени светлые с лестницей на крыльцо, да клеть, да поветь саженой семь в длину – на нее, бывало, заезжали на паре, – да внизу, под поветью, двор с разными станками и хлевами.

И вот, когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, не спеша. Вразвалку. Чтобы не только сердцем и разумом, подошвами ног почувствовать прошлые времена.

Теперь, с приездом старухи, на этих разгулах по дому надо поставить крест – это было мне ясно. И на моих музейных занятиях – так я называл собирание старой крестьянской утвари и посуды, разбросанной по всему дому, – тоже придется поставить крест. Разве смогу я втащить в избу какой-нибудь пропылившийся берестяной туес и так и этак разглядывать его под носом

у старой хозяйки? Ну, а о всяких там других привычках и удовольствиях, вроде того чтобы среди дня завалиться на кровать и засмолить папиросу, об этом и думать нечего.

Я долго сидел в лодке, приткнутой к берегу.

Уже туман наглухо заткал реку, так что огонь, зажженный на той стороне, в доме хозяев, был похож на мутное желтое пятно, уже звезды высыпали на небе (да, все вдруг – и туман, и звезды), а я все сидел и сидел и распялял себя.

Меня звали. Звал Максим, звала Евгения, а я закурил удила и – ни слова. У меня даже одно время появилась бы мысль укатить на ночлег в Русиху – большую деревню, километра за четыре, за три вниз по реке, да я побоялся заблудиться в тумане.

И вот я сидел, как сыч, в лодке и ждал. Ждал, когда на той стороне погаснет огонь. С тем, чтобы хоть ненадолго, до завтра, до утра, отложить встречу со старухой.

Не знаю, сколько продолжалось мое сиденье в лодке.

Может быть, два часа, может быть – три, а может, и четыре. Во всяком случае, по моим расчетам, за это время можно было и поужинать, и выпить уже не один раз, а между тем на той стороне и не думали гасить огонь, и желтое пятно все так же маячило в тумане.

Мне хотелось есть – давеча, придя из лесу, я так спешил на рыбалку, что даже не пообедал, меня колотила дрожь – от сырости, от ночного холода, и в конце концов – не пропадать же – я взялся за весло.

Огонь на той стороне сослужил мне неоценимую службу. Ориентируясь на него, я довольно легко, не блуждая в тумане, переехал за реку, затем так же легко по тропинке, мимо старой бани, огородом поднялся к дому.

В доме, к моему немалому удивлению, было тихо, и, если бы не яркий огонь в окошке, можно было бы подумать, что там уже все спят.

Я постоял-постоял под окошками, прислушиваясь, и решил, не заходя в избу, подняться к себе на вышку.

Но зайти в избу все-таки пришлось. Потому что, отворяя ворота, я так брякнул железным кольцом, что весь дом задрожал от звона.

– Сыскался? – услышал я голос с печи. – Ну, слава богу. А я лежу и все думаю, хоть бы ладно-то все было.

– Да чего неладно-то! – с раздражением сказала Евгения. Она тоже, оказывается, не спала. – Это вот для тебя светильню-то выставила, – кивнула Евгения на лампу, стоящую на подоконнике за спинкой широкой никелированной кровати. – Чтобы, – говорит, – постоялец в тумане не заблудился. Ребенок постоялец-то! Сам-то уж не сообразит, что к чему.

– Да нет, всяко бывает, – опять отозвалась с печи старуха. – Кой год у меня хозяин всю ночь проплавал по реке, едва к берегу прибил. Такой же вот туман был.

Евгения, охая и морщась, начала слезать с кровати, чтобы покормить меня, но до еды ли мне было в эти минуты! Кажется, никогда в жизни мне не было так стыдно за себя, за свою безрассудную вспыльчивость, и я, так и не посмев поднять глаза кверху, туда, где на печи лежала старуха, вышел из избы.

Утром я просыпался рано, как только внизу начинали ходить хозяева.

Но сегодня, несмотря на то что старый деревянный дом гудел и вздрагивал каждым своим бревном и каждой своей потолочиной, я заставил себя лежать до восьми часов: пусть хоть сегодня не будет моей вины перед старым человеком, который, естественно, хочет отдохнуть с дороги.

Но каково же было мое удивление, когда, спустившись с вышки, я увидел в избе только одну Евгению!

– А где же гости? – Про Максима я не спрашивал.

Максим после выходного на целую неделю уходил на свой смолокурный завод, где он работал мастером.

– А гости были да сплыли, – веселой скороговоркой ответила Евгения. – Иван домой уехал – разве не чул, как мотор гремел, а мама, та, известно, за губами ушла.

– За губами! Милентьевна за грибами ушла?

– А чего? – Евгения быстро взглянула на старинные, в травяных узорах часы, висевшие на передней стене рядом с вишневым посудным шкафчиком. – Еще пяти не было, как ушла. Как только начало светать.

– Одна?

– Ушла-то? Как не одна. Что ты! Который год я тут живу? Восьмой, наверно. И не было вот годочка, чтобы она в это время к нам не приехала. Всего наносит. И соленых, и обабков, и ягод. Краса Насте. – Тут Евгения быстро, по-бабьи оглянувшись, перешла на шепот: – Настя и живет-то с Иваном из-за нее. Ей-богу! Сама сказывала весной, когда Ивана в город возила от вина лечить. Горькими тут плакала. «Дня бы, говорит, не мучилась с ним, дьяволом, да мамы жалко». Да, вот такая у нас Милентьевна, – не без гордости сказала Евгения, берясь за кочергу. – Мы-то с Максимом оживаем, когда она приезжает.

И это верно. Я никогда еще не видел Евгению такой легкой и подвижной, ибо по утрам она, шлепая по дому в старых разношенных валенках и в стеганой телогрее, всегда стонала и охала, жаловалась на ломоту в ногах, в пояснице – у нее была тяжелая жизнь, как, впрочем, у всех деревенских женщин, юность которых пала на военную страду: только с багром в руках она тринадцать раз прошла всю реку от вершины до устья.

Сейчас я глаз не мог отвести от Евгении. Просто чудо какое-то произошло, будто ее живой водой вспрыснули.

Железная кочерга не ворочалась, плясала в ее руках. Печной жар трепетал на ее смуглом моложавом лице, и черные круглые глаза, такие сухие и строгие, сейчас мягко улыбались.

На меня тоже напал какой-то непонятный задор. Я быстро сполоснул лицо, сунул ноги в калоши и выскочил на улицу.

Туман стоял страшный – я только теперь понял, что на окошках не занавески белели. Реку затопило с берегами. Даже верхушек прибрежных елей на той стороне не было видно.

Я представил себе, как где-то там, за рекой, в этом сыром и холодном тумане, бродит сейчас с коробкой старая Милентьевна, и побежал в сарай колоть дрова. На тот случай, если придется затоплять баню для иззябшей старухи.

Я раза три в то утро выбегал к реке, да столько же раз, наверно, выбегала Евгения, и все-таки мы не укараулили Милентьевну. Явилась она внезапно. В то время, когда мы с Евгенией завтракали.

Не знаю, то ли оттого, что ворота на крыльце не были заперты, то ли мы с Евгенией слишком заговорились, но только вдруг дверь подалась назад, и я увидел ее – высокую, намокшую, с подоткнутым по-крестьянски подолом, с двумя большими берестяными коробками на руках, полнехонькими грибов.

Мы с Евгенией выскочили из-за стола, чтобы принять эти коробки. А сама Милентьевна, не очень твердо ступая, прошла к прилавку у печи и села.

Она устала, конечно. Это видно было и по ее худому тонкому лицу, до бледности промытому нынешними обильными туманами, и по ее заметно вздрагивающей голове.

Но в то же время сколько благодного удовлетворения и тихого счастья было в ее голубых, слегка прикрытых глазах. Счастья старого человека, хорошо, всласть потрудившегося и снова и снова доказавшего и себе, и людям, что он еще не зря на этом свете живет. И тут я вспомнил свою покойную мать, у которой, бывало, вот так же довольно светились и сияли глаза, когда она, до упаду наработавшись в поле или на покосе, поздно вечером возвращалась домой.

Евгения, ахая, причитая: «Вот какая у нас бабка! Мы еще сидим – брюхо набиваем, а она уж наработалась!» – развернула бурную деятельность. Как подобает примерной невестке. Она занесла легкий ушатику из сеней, вымытый, выпаренный, заранее приготовленный для засолки

грибов, сбегала в клеть за солью, наломала в огороде свежего пахучего смородинника, а потом, когда Милентьевна, немного передохнув, ушла переодеваться на другую половину, начала сворачивать на середке избы пестрые половики, то есть готовить место для засолки.

– Думаешь, она сейчас исть-пить будет? – заговорила Евгения, как бы объясняя мне, почему она не хлопочет сперва о завтраке для свекрови. – Ни за что! Старорежимный человек. Покамест грибы не приберет, лучше и не заикайся об еде.

Мы сели прямо на голый пол, кучно, нога к ноге. Вокруг нас мельтешили солнечные зайчики, грибной дух мешался с избяным теплом, и так славно, так приятно было смотреть на старую Милентьевну, переодевающуюся в сухое ситцевое платье, на ее темные, жиливатые руки, которые она то и дало погружала то в коробку, то в ушатик, то и эмалированную кастрюлю с солью, – старуха, конечно, солила сама.

Грибы были отборные, крепкие. Желтая молоденькая сыроежка со сладким пеньком, который на севере едят как репу, белый сухой конек, рыжик, волнушка и царь солен-масляный груздь, который особенно хорошо оправдывает свое название в такой вот солнечный день, как нынешний, – так и кажется, что в его блюде комками плавится топленое масло.

Я неторопливо, с великой осторожностью брал из коробки гриб и каждый раз, прежде чем начать счищать с него соринки, поднимал его к свету.

– Что – не видал такого золота? – спросила меня Евгения. Спросила с подковыркой, явно намекая на мои довольно скромные приношения из леса. – Да вот, в том же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя нету. Не удивляйся. У ей с этим заречным ельником с первой брачной ночи дружба. Она из-за этих грибов едва живота не лишилась.

Я непонимающе посмотрел на Евгению: о чем, собственно, речь?

– Как? – страшно удивилась она. – Да разве ты не слыхал? Не слыхал, как муж в ей из ружья стрелял? Ну-ко, мама, сказывай, как дело-то было.

– А чего сказывать, – вздохнула Милентьевна. – Мало ли чего меж своих не бывает.

– Меж своих... Да ведь этот свой мало тебя не убил!

– А раз мало, то не в счет.

Черные сухие глаза Евгении неистово округлились.

– Я не знаю, ты, мама... Уж все вкось да поперек. Может, скажешь еще, что ничего и не было? Может, и головная трясучка у тебя не после этого?

Евгения заправила тыльной стороной руки выбившуюся прядку волос за маленькое ухо с красной сережкой-ягодкой и, видимо, решив, что от свекрови все равно никакого толка не будет, начала рассказывать сама.

– Шестнадцати лет нашу Милентьевну взамуж выпихнули. Может, еще и грудей-то не было. У меня не было в эти годы, ей-богу. А про то, как девка жить будет, про то разве раньше думали? Отец, родимый батюшко, на житье женихово позарился. Один парень в доме, красоваться будешь. А какая краса, когда дикарь на дикаре вся деревня?

– Да, может, хоть не вся, – возразила Милентьевна.

– Не защищай, не защищай! Кто хошь скажет. Дикари. Да и я помню. Бывало, к нам в праздник в большую деревню выберутся – орда ордой. Все скопом – женатые, неженатые. С бородами, без бороды. Идут, орут, каждого задирают, воздух портят – на всю деревню пальба. А дома у себя – никто не видит – и того чище. Уж каждый с какой-нибудь придурью да забавой. Один в сарафане бабьем бегаёт, другой – Мартынок – чижик был – все на лыжах за водой на реку ходил. Летом, в жару, да еще шубу наденет, кверху шерстью. А Исак Петрович, тот опять на архиерее помешался. Бывало, говорят, вечера дождется, лучину в передних избах зажгет, набивник синий на себя наденет – сарафан бабкин – да ходит-ходит из избы в избу, псалмы распевает. Так, мама? Не вру?

– Люди не без греха, – уклончиво ответила Милентьевна.

– Не без греха! Каки таки грехи у тебя в шестнадцать лет были, чтобы из ружья стрелять? Нет уж, такая порода. Весь век в лесу да в стороне от людей – поневоле начнешь лесеть да сходить с ума. И вот в такой-то зверушник да девку в шестнадцать лет и кинули. Хошь выживай, хошь погибай – твое дело. Ну, мама у нас решила перво-наперво свекра да свекровь на свою сторону перетягивать. Им угоду делать. А чем можно было перетянуть стариков в бывалошное время? Работой. И вот новобрачные в первую ночь милуются да любят, а Василиса Милендьевна у нас встала ни свет ни заря да за реку по грибы. Осенью тебя, мама, в это время выдали?

– Кажись, осенью, – не очень охотно ответила Милендьевна.

– Да не кажись, а точно, – убежденно сказала Евгения. – Летом-то много ли в лесу губ, а ты ведь коробку-то наломала за час – за два. Когда тебе было расхаживать по лесу, когда тебя муж дома ждет? Ну вот, возвращается у нас Милендьевна из лесу. Рада. Ни одного дыма над деревней нету, все еще снят, а она уж с грибами. Вот, думает, похвалят ее. Ну и похвалил. Только она переехала за реку да шаг какой ступила от лодки – бух выстрел в лицо. Грозный муж молодую жену встречает...

У старой Милендьевны, как веревки, натянулись жилы на худой морщинистой шее, сгорбленная спина выпрямилась – она хотела унять дрожь, которая заметно усилилась. Но Евгения ничего этого не видела. Она сама не меньше свекрови переживала события того далекого утра, известные ей по рассказам других, и кровь волнами то приликала, то отливала от ее смуглого лица.

– Бог, бог отвел смерть от мамы. Далеко ли от огорода до бани? А мама как раз к бане подошла, когда он ружье-то на нее навел, да, видно, рука-то после пьянки взыграла, а то бы наповал. Дробь и теперь в дверке у бани сидит. Не видал? – обратилась ко мне Евгения. – Посмотри, посмотри. Меня муженек сюда первый раз привез, куда, думаешь, перво-наперво повел? Терема свои показывать? Золотой казной хвастаться? Нет, к бане черной. «Это, говорит, мой отец мать учил...» Вот какой лешак! Все, все у них тут такие. По каждому кутузка плачет...

Я видел: старая Милендьевна давно уже тяготится этим разговором, ей неприятна наша бесцеремонная назойливость. А с другой стороны – как остановить себя, когда ты уже целиком захвачен этой необычной историей? И я спросил:

– Да из-за чего же весь этот сыр-бор загорелся?

– Пальба-та эта? – Евгения любила все называть своими именами. – Да из-за Ваньки-лысого. Вишь он, лешак, прости господи, неладно бы так своего свекра называть, хватился утром-то... Где вы, мама, спали? На повети? Туда-сюда рукой – нету. На улицу вылетел. А тут и она, молодая жена. Из заречья идет. Вот он и взбеленился. А, думает, так-перетак, к Ваньке-лысому ездила? На свиданье?

Милендьевна, к этому времени, должно быть, опять овладев собой, спросила не без издевки:

– А ты и про то знаешь, что твой свекор думал?

– Да почто не знать-то. Люди соврать не дадут. Иван-лысой, бывало, напьется: «Ребята, я смолоду в двух деревнях прописан: телом дома, а душой в Пижме». До самой смерти говорил. Красивой мужик был. Ох, да чего рассусоливать. Женихов косяк у мамы был. За красоту и брали. Вишь ведь, она и теперь у нас хоть замуж выдавай, – польстила свекрови Евгения и, кажется, впервые за все время, что рассказывала, улыбнулась.

Затем, как-то жеманно, с прищуром поведя своим черным безрадостным глазом, заговорила игриво:

– Ну, а тебя, мама, тоже не хвалю. Уж как ни молода была, а должна понимать, для чего замуж берут. Всяко, думаю, не для того, чтобы по грибы в первую ночь бегать...

Ох, как тут сверкнули тихие голубые глаза у старой Милендьевны! Будто гроза прошла за окошками, будто там каленое ядро разорвалось.

Евгения сразу смешалась, поникла, я тоже не знал, куда девать глаза. Некоторое время все сидели молча, с особым старанием выбирая сор из грибов.

Милентьевна первой подала голос к примирению. Она сказала:

– Сегодня я уж вспоминала свою жизнь. Хожу по лесу да умом-то все назад дорогу топчу.

Семой десяток нынче пошел...

– Седьмой десяток, как вы вышли замуж за Пижму? – уточнил я.

– Да хоть не вышла, а выпихнули, – с легкой усмешкой сказала Милентьевна. – Верно она говорит: не было у меня молодости. И по-нонешнему сказать, не любила я своего мужа...

– Ну вот, – не без злорадного торжества воскликнула Евгения, – призналась! А я рта не раскрой. Все не так, все не ладно.

– Да ведь когда по живому-то месту пилят, и старое дерево скрипит, – еще примирительней сказала Милентьевна.

Грибы подходили к концу.

Евгения, поставив на колени пустую коробку, начала выбирать из грибного мусора ягоды – мокрую, переспелую чернику и крупную, в самой поре бруснику. Она все еще дулась, хотя нет-нет да и бросала время от времени любопытные взгляды на свекровь – та опять принялась за прошлое.

– Старые люди любят хвалить бывалошные времена, – говорила Милентьевна негромким, рассудительным голосом, – а я не хвалю. Нынче народ грамотной, за себя постоит, а мы смолоду не знали воли. Меня выдали взамуж – теперь без смеха и сказать нельзя – из-за шубы да из-за шали...

– Неужели? – в страшном волнении воскликнула Евгения. – А я и не слышала.

От ее недавней сердитости не осталось и следа. Жадное бабье любопытство, столь глубоко укоренившееся в ее натуре, взяло верх над всеми другими чувствами, и она так и впиалась своим пылающим взглядом в свекровь.

– Так, – сказала Милентьевна. – Отец у нас, вишь, строился, хоромы возводил, каждая копейка была дорога, а тут я стала подрастать. Бесчестье, ежели дочь на игрище выйдет без новой шубы и шали, вот он и не устоял, когда из Пижмы сваты приехали: «Без шубы и шали возьмем...»

– А братья-то где были? – опять, не выдержав, перебила Евгения. – Хорошие у мамы были братья. Беда как ей жалели. Как свечу на руках несли. Уж она взамужем была, у самих ребят полные избы, а все сестре помогали...

– А братья, – сказала Милентьевна, – в лесу в ту пору были. Лес на двор рубили.

Евгения живо закивала:

– Ну, тогда ясно, ясно. А я все голову ломаю, как такие братья, первые люди по деревне – из хорошего житья мама брана, – сестру любимую не могли отстоять. А оно вон что – их дома не было, когда тебя сватали...

После этого, уточняя все новые и новые подробности, неизвестные ей, Евгения опять стала забирать разговор в свои руки. И вскоре кончилось все тем, что негромкий голос Милентьевны совсем замолк.

Евгения переживала давнишнюю драму свекрови всем своим существом.

– Беда, беда, что могло быть! – размахивала она руками. – Братья услышали: зять сестру застрелил – на конях прискакали. С ружьями. «Только одно словечушко, сестра! Сейчас дух выпустим». Крутые были. Силачи, медведя в дугу согнут, не то что там человека. И вот тогда мама и сказала им: «И не стыдно вам, братья дорогие, шум понапрасну подымать, людей добрых баламутить. Хозяин молодой у нас ружье пробовал, на охоту собирается, а вы невесть что взяли...» Вот какая она у нас умница-разумница была! Это в шестнадцать-то лет! – Евгения с гордостью посмотрела на свою потупившуюся свекровь. – Нет, подними на меня Максим руку, я бы не вытерпела. Засудила бы и засадила куда следует. А она головой потряхивает да

братьев своих отчитывает: «Куда суетесь? Есть у вас голова-то на плечах? Поздно мне теперь назад заворачивать, когда голова бабьим повойником покрыта. Надо тут мне приживаться да уживаться». Вот так, такой поворот всему делу дала.

Евгения вдруг всхлипнула. Она ведь, в сущности, была добрая баба.

– Ну дак уж свекор ей за это только что ноги не целовал. Что ты, что ты, ведь смертоубийство могло быть. Братья распалились – чего им стоило решку на Мирона навести. Я-то маленькая была, худо помню Онику Ивановича, а люди старые и сейчас поминают. Откуда ни идет, с какой стороны ни едет, а подарок своей сношеньке завсегда. А ежели загуляет да начнут уговаривать остаться ночевать: «Нет, нет, робята, не останусь. Домой попадать буду. Я по своей Василисе Прекрасной соскучился». Все, как выпьет, Василисой Прекрасной называл.

– Называл, – вздохнула Милентьевна, и мне показалось, что ее старые, выдавшие виды глаза повлажнели.

Евгения, по-видимому, тоже заметила это. Она сказала:

– Есть, есть за что помянуть добрым словом Онику Ивановича. Может, только он один и человек в деревне был. А тут все как есть урван. – В Пижме все носят одну фамилию – Урваевы. – И Мирон Оникович, мой свекор-батюшко, тоже урвай. Да еще урвай-то какой. Другой бы на его месте после такой истории знать как повел себя? Тише воды, ниже травы. А этот такая поперечина – за все взыск.

Милентьевна подняла голову, она, видно, хотела вступить за своего мужа, но Евгения, опять вошедшая в раж, и рта открыть ей не дала.

– Нечего, нечего закрашивать. Всяк знает какой. Кабы хорошей был, разве не выпускал бы тебя десять лет с Пижмы? Нигде не бывала мама – ни у родителей своих, ни на гулянье. Да и куделю-то, бывало, пряла одна, а не на вечерянке. Вот какая ревность лешья была. Да чего говорить? – Евгения махнула рукой. – За все спрос да взыск. Скажи-ко на милость, виновата ли жена, что все дети обличьем в ей, а не в отца, а у него и за то взыск: «Чей это голубель за столом рассыпан?» Все так допрашивал маму, когда напьется. А чего бы, кажись, допрашивать? Сам темный, небаскящий, как головешка копченая, лицо в шадринах, оспой болел, как, скажи, овцы ископытили... Да радоваться надо, Бога вечно молить, что дети не в тебя...

Не знаю, то ли не понравилось Милентьевне, как невестка обращается с ее прошлым, то ли она, как крестьянка старого закала, не привыкла долго сидеть без дела, но она вдруг начала подниматься на ноги, и разговор у нас оборвался.

Дом Максима – единственный в Пижме, который развернут фасадом вниз по течению реки, а все остальные стоят к реке озадками.

Евгения не очень жаловавшая пижемцев, объясняла это просто:

– Урвай! Назло людям выставили свои поганые зады.

Но причина такой застройки, конечно, была иная, та, что Пижма расположена на южном берегу реки, и как же было отвернуться от солнца, когда оно и так не часто бывает в этих лесных краях.

Я любил эту тихую деревушку, насквозь пропахшую молодым ячменем, развешанным в пухлых снопах на жердяных пряслах. Мне нравились старинные колодцы с высоко вздернутыми журавлями, нравились вместительные амбары на столбах с конусообразными подрубами – чтобы гнус не мог подняться с земли. Но особенно меня восхищали пижемские дома – большие бревенчатые дома с деревянными конями на крышах.

Впрочем, сам по себе дом с коньком на Севере не редкость. Но я ни разу еще не видел такой деревни, где бы каждый дом был увенчан коньком. А в Пижме – каждый.

Идешь по подоконью узкой травянистой тропинкой, в которую из-за малолюдья превратилась деревенская дорога, и семь деревянных коней смотрят на тебя с поднебесья.

– А раньше их поболее у нас было. В двух десятках деревянное стадо считали, – заметила Милентьевна, шагавшая рядом со мной.

Старуха который раз за эти сутки удивила меня.

Я думал, после завтрака она, старый человек, первым делом подумает об отдыхе, о покое. А она встала из-за стола, перекрестилась, принесла из сеней берестяный пестерь и начала при-
вязывать к нему лямки из старого холстяного полотенца.

– Куда, бабушка? Не опять в лес? – полюбопытствовал я.

– Нет, не в лес. К дочери старшей, в Русиху лажу сходить, – по-старинному выразилась Милентьевна.

– А пестерь зачем?

– А пестерь затем, что, все ладно, завтра из-за утра в лес уйду. Доярки коров доить поедут и меня прихватят. Мне, вишь, нельзя время-то терять. Я на мало в этот раз отпущена, на неделю.

Евгения, до сих пор не вмешивавшаяся в наш разговор – она собиралась на работу, – тут не выдержала:

– Сказывай – на мало отпущена. Завсегда так. Уж не отдохнет, не посидит без дела. Нет, моя бы воля – весь день лежала. А чего? Неужто человек только затем и родится, чтобы с утра до вечера чертоломить?

Я вызвался проводить Милентьевну до перевоза – а вдруг перевозчик опять в загуле и старухе потребуется помощь.

Но у Милентьевны нашлись помощники и кроме меня.

Ибо не успели мы поравняться с конюшной, старым полуразвалившимся гумном на краю деревушки в поле, как оттуда с разбойным свистом и гиканьем вылетел Прохор Урваев. На гремучей немазаной телеге, в которую был запряжен Громобой, единственный живой конь в Пижме.

Когда-то этот Громобой, надо полагать, был рысак что надо, а сейчас от старости он походил на ходячий скелет, обтянутый сопревшей от лишая кожей, и если кто еще и мог заставить этот скелет погрометь старыми костями, так это Прохор – один из трех мужиков, оставшихся в Пижме.

Прохор, по обыкновению, был под мухой – от него так и разило дешевым одеколоном.

– Тета, тета! – закричал он, подъезжая. – Я твое добро помню. Я с утра дежурю с Громобоем, потому как знаю – тебе на перевоз. Так, тета? Не ошибся Прохор?

Милентьевна не стала отказываться от услуг племянника, и скоро телега с ней и Прохором покатила по зеленому выкошенному лугу, к желтевшей вдаль песчаной косе, где был перевоз.

Я вернулся домой.

Евгении дома уже не было – она ушла на поле помогать бабам убирать горох, и мне бы тоже в самый раз заняться своими делами – у меня и сетка за рекой не смотрена, да и в лес надо – когда еще выдастся такой ладный денек.

А я вошел в пустую избу, постоял неприкаянно под порогом и пошел на поветь.

С поветью меня познакомил Максим в первый же день (я сперва хотел спать на сеновале), и, помню, я просто ахнул, когда увидел то, что там было. Целый крестьянский музей!

Рогатое мотовило, кроена – домашний ткацкий станок, веретенница, расписные прялки-мезехи (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетенные из сосновой драни, из бересты и корня, берестяные хлебницы, тусса, деревянные некрашенные чашки, с какими раньше ездили в лес и на дальние сенокосы, светильник для лучины, солонки-уточки и еще много-много всякой другой посуды, утвари и орудий труда, сваленных в одну кучу, как ненужный хлам.

– Надо бы выбросить все это барахло, – сказал Максим, словно бы оправдываясь передо мной, – ни к чему теперь. Да как-то рука не поднимается – мои родители кормились от этого...

С тех пор я редкий день не заглядывал на повесть. И не потому, что вся эта отжившая старина была для меня внове, – я сам вышел из этого деревянного и берестяного царства. Внове для меня была красота точеного дерева и бересты. Вот что не замечал я раньше.

Всю жизнь моя мать не выпускала из своих рук березового трепала, того самого трепала, которым обрабатывают лен, но разве я замечал когда-либо, что оно само льняного цвета – такое же нежное, лениво-матовое, с серебристым отливом? А хлебница берестяная. Мне ли бы не запомнить ее золотистого сияния? Ведь она, бывало, каждый раз, как долгожданное солнце, опускалась на наш стол. А я только и запомнил, что да когда в ней было.

И так все, – что бы я ни взял, на что бы ни взглянули старый заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая, будто медвяная, чашка, выточенная из крепкого березового свала, – все раскрывало мне особый мир красоты. Красоты, по-русски неброской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом.

Но сегодня, после того как я познакомился со старой хозяйкой этого дома, я сделал для себя еще одно открытие.

Сегодня я вдруг понял, что не только топор да нож мастера этой красоты. Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха (да, была тут и Андреевна, допотопной раскорякой стоявшая в темном углу) прошли в поле и на пожне. Крестьянские мозоли обкатывали и полировали их.

* * *

На следующий день с утра зарядил дождь, и я опять остался дома.

Как и вчера, мы с Евгенией долго не садились за стол: вот-вот, думалось, придет Милендьевна.

– Не должна бы она сегодня далеко-то убраться, – говорила Евгения. – Не маленький ребенок.

Но шло время, дождь не переставал, а на том берегу – я не отходил от окошка – все никого не было. В конце концов я накинул на себя плащ и пошел затоплять баню: хорошо из нынешней лесной купели да прямо на горячий полчок.

Бани в Пижме, черные, с каменками, стоят рядом неподалеку от реки, под огородами, которые как бы греются на взгорке.

Весной, в половодье, бани топят, и с верхней стороны против каждой из них врыты бревенчатые быки – для сдерживания и дробления напирających льдин, а кроме того, от этих быков к баням протянуты еще могучие тязи, свитые из березовых виц, так что бани стоят как бы на приколе.

Я спросил как-то у Максима: к чему все эти премудрости? Не проще ли было поставить бани на взгорке, там, где расположены огороды?

Максим по-урваевски, как бы сказала Евгения, рассмеялся.

– А затем, чтобы веселее жить. Весной, знаешь, бывало, какую пальбу по этим льдинам откроем! Ой-ей-ей! Из всех ружьев.

На следы дробы в старой продымленной дверке я обратил внимание еще в первые дни своего пребывания в Пижме – она сплошь изрешечена, а сейчас, затопив баню и вспомнив вчерашний рассказ Евгении, я попытался даже определить, какие тут дробины от того заряда, который выпустил когда-то по молодой Милендьевне ее муж.

Но из этого, конечно, ничего не вышло. Да, откровенно говоря, мне было, и не до прошлого. Потому что очень уж погано сегодня в лесу было и как там старая Милендьевна? Все ли с ней в порядке?

Евгения тоже беспокоилась о свекрови. Она не могла усидеть дома и пришла ко мне.

– Не знаю, не знаю, что и подумать, – сокрушенно качала она головой. – Это уж она на Богатку уперлась, не иначе. Вот какая вот упрямая старушонка! Хоть говори, хоть нет. В ее ли годы под таким дождем лешачить в лесу.

Прикрыв лицо смуглыми руками, сложенными козырьком, Евгения поглядела на реку и еще более определенно сказала:

– Учесала, учесала – больше некуда деваться. В прошлом году вот так же: ждем-ждем ее, все глаза проглядели, а она на свою Богатку укатила.

Я знал про Богатку – это поскотина в трех-четыре верстах от Пижмы вверх по реке, но я никогда не слышал, что там много грибов и ягод, и спросил об этом Евгению.

Она по привычке, когда дело казалось ей яснее ясного, округлила свои черные глаза:

– С чего! Какие грибы на Богатке? Может, теперь-то и есть – все лесом заросло, а раньше там сплошь пожни были. Один только Оника Иванович, мамин свекор, до ста возов сена ставил. Вот она кажинный год туда и ходит, с ей эта Богатка началась. Она всему делу закоперщица. А до того, как мамы на Пижме не было, и слова такого никто не слышал. Поскотина да поскотина – и все тут.

Евгения кивнула на деревню:

– Лошадей-то деревянных видал на крышах? Сколько их? Во всей Русихе столько нету. А скажи-ко, часто ли ране ворота на взвозе красили? Это уж только богач, какой туз деревенский. А тут ведь, на Пижме, сплошь. Бывало, идешь мимо тем берегом – страшно, когда солнышко на закате. Так вот и кажется, вся Пижма в пожаре. Дак вот, все это у них с Богатки, там клады им открыла Милентьевна.

Я все-таки ничего не понимал: о каких кладах говорит Евгения? Что в ее словах правда, а что вымысел?

Густой дым, поваливший из сенцов, заставил нас податься в сторону маленького оконца. Там мы сели на скамейку под жердочку с сухими березовыми вениками нынешней вязки.

Евгения, кашляя от дыма, выругала для собственного облегчения мужа – хорошо перекалал каменку! – потом заодно уж прошлась по другим жителям деревни:

– Все тут урвай! Я вчерась для ради мамы похвалила Онику Ивановича, а по правде сказать, дак и он урвай. Как не урвай. До старости свою старуху заставлял самое хорошее на ночь надевать. У людей как бы в люди или на праздник получше выйти, а у него чтобы на ночь в шелках. Вот какой норов у человека. А о том ли бы мужику серому думать, когда в доме, куда ни повернись, везде дыра да прореха. Мама, мама их всех в люди вывела, – убежденно сказала Евгения. – При ней урвай пошли в рост...

– А как?

– Как в люди-то вывела? А через Богатку. Через расчистки. Север испокон веку стоит на расчистках. Кто сколько пожен расчистил да полей раскопал, у того столько и хлеба, и скота. А Милентий Егорович, отец-то мамин, первый по расчисткам в Русихе был. Четыре сына взрослых – знаешь, какая силушка! А на Пижме у этих урваев все шиворот-навыворот. Первое дело у них охота да рыба. А к земле и прилежанья не было. Сколько деды накопили, расчистили, тем и жили. Своего-то хлеба до Нового года не всегда хватало. Правда, когда на зверя в лесу урожай, у них песни. А когда на бору голо, и они как сычи голодные. И вот мама сколько-то так пожила, помаялась, потом видит – так нельзя. За землю надо браться. Ну, а у ей дорожка к сердцу свекра уж протоптана. Еще с той, новобрачной ночи. Она и давай капать: татя, за ум надо браться, татя, давай землей жить... Ладно. Согласился, нет свекор с невесткой, а главное, что не препятствовал. Мама братьев своих кликнула: так и так, братья дорогие, выручайте свою сестру. А те, известно: для своей Васи черта своротить готовы. Участок, какой надо, выбрали, лес долой – которо вырубил, которо пожгли, да той же осенью посеяли рожь. Вот тут урвай и започесывались. Беда, какая рожь вымахала – мало не вровень с елями. Знаешь, по поджогу как родится. Кончилась охота, прощай, рыбка. За топор взялись. Ну и робили! Я-то не помню, мала

еще была, а мама у нас все рассказывала, как их на этой самой Богатке за работой видела. Иду, говорит, лесом, корову искала, и вдруг, говорит, огонь, да такой, говорит, большой – прямо до поднебесья. А вокруг этого огня голые мужики скачут. Я, говорит мама, попервости обмерла, шагу не могу ступить: думаю, уж лешаки это, больше некому. А то урвай. Расчистку делают. А чтобы не жарко было, рубахи-то с себя сняли, да и жалко лопотину-то – не теперешнее время. А ребятишек-то мучили! У меня Максим иной раз почнет вспоминать – я не верю. Мыслимо ли дело ребенка, как собачонку, на веревочку вязать? А у них вязали. В чашку молока плеснут, на пол поставят, да ползай весь день на веревочке, покуда мама да папа на работе. Боялись, знашь, чтобы ребята пожару дома не наделали. Так, так дичали урвай, – еще раз подчеркнула Евгения. – А чего? Они век не рабатывали, птичек постреливали, – сам знашь, сколько у них силы накопилось. Ох, мама, мама... Хотела как лучше, а принесла беду. Ведь их покулачили, когда зачались колхозы...

Я не охнул и не ахнул при этих словах. Кого в наше время удивишь этой старой-престарой сказкой про щепки, которые летят, когда лес рубят!

Евгении, однако, мое молчание не понравилось. Она приняла его за равнодушие и голосом, полным обиды, сказала:

– Старое время ноне не в почете. Все забыли – и как колхозы делали, и как в войну голодали. Молодежь я не виню, молодежь, та известно: жить хочется, некогда оглядываться назад, да нынче и старухи-то какие-то не те стали. Посмотри, когда они в Русихе за пензией идут, одна другой толще да здоровей. От детей ихних, которые в войну голову сложили, уж и косточек не осталось, а у них на уме, как бы подольше пожить да чтобы войны не было. А уж насчет того, что ихние поля да луга лесом зарастают, и не охнут. Сыты. Пензия капает каждый день. Я тут как-то бабу Мару спрашиваю: не больно, говорю, глазам-то? Не колет? Ране, говорю, на поля из окошка смотрела, а теперь на кусты. Хохочет: «То и хорошо, девка, дрова ближе». Подумай-ко, что на уме у старого человека? Урвайха, чистая урвайха! У меня Максим такой же: все смешки да хаханьки – хоть потоп кругом.

Евгения помолчала, затем тяжело вздохнула:

– Нет, я какой-то выродок по нонешним временам. У меня все заботы да печаль. Мне все на нервы. А уж из-за своей-то свекровушки я понадрывала сердце. Что ты! Робила-робила, да ты и виновата. Вот какое время у нас было. «Да я-то, говорит мама, ничего, я-то бы стерпела. Да каково, говорит, людей под монастырь подвести».

– Каких людей?

Евгения быстро обернулась ко мне. В ее черных немигающих глазах опять появился накал.

– Пять хозяйств распотрошили. Что ты, у них еще в Гражданскую войну по амбару хлеба выгребли, а к колхозам-то они уж и вовсе разъехались. Ну и урвай еще. Все одно к одному. Кабы тихо-мирно, может, и не тронули бы – кто не знает, с чего пошли? А то ведь их в колхоз записывать приехали, а они: не желам. У нас и так колхоз. Вот власти-то и психанули, невзлюбили их. Ну, правда, четырех-то мужиков вернули, и мой свекор, мамин муж Мирон Оникович, вернулся, хоть и больным, а сам-то Оника Иванович так и остался там. Беда, беда, что тогда было! Кой год мама тут рассказывала, я не рада была, что и слушать стала. Заревелась.

Евгения шумно ширнула носом, вытерла платком глаза.

– Ты подумай только, как все иной раз в жизни оборачивается. Мама как раз рожь молотила на гумне, когда гроза-то над ними пала. Да, на гумне, – кивнула она, немного подумав. – Радует. Вот, думает, опять Бог дал хлеба. Хорошая, крупная рожь уродилась, может, за всю жизнь такой не видали. И вдруг девка прибегает: «Мама, бежи скорее домой. Татю да дедушка повозят». И вот, говорит мама, сама знаю, что бежать надо. Тогда ведь круто поворачивались, раз-раз и прощай навек, а у меня, говорит, и ноги подкосились. С места не могу двинуться. Дак я, говорит, до ворот на коленцах ползла. Страшно. Из-за ей ведь расплата пришла. Кабы

она свекра не подбила на эти самые расчистки, кто бы урваев тронул? Век голь перекатная. Ну, не страхом убил свекор маму – добрым словом. Она-то чего только для себя не ждала, к каким казням не приготовилась – сам знаешь, человек в такую минуту что может натворить, а свекор вдруг, видит, на колени встает. Да при всем честном народе. «Спасибо, говорит, Василиса Милендьевна, за то, что нас, дураков, людьми сделала. И не думай, говорит, худа против тебя на сердце нет. Всю жизнь, до последнего вздоха благословлять буду...»

Евгения заплакала и досказала уже, давась слезами:

– Так мама и не простилась с Оникой Ивановичем. Замертво упала...

Милендьевна вернулась из лесу в четвертом часу пополудни – ни жива ни мертва. Но с грибами. С тяжелой, поскрипывающей на ходу берестяной коробкой.

Собственно, по скрипу этой коробки я и угадал ее приближение к шалашику на той стороне, под елями, – я все-таки не выдержал и переехал за реку.

Евгения, еще больше моего измученная ожиданием, начала отчитывать свекровь, как неразумного ребенка, едва мы переступили за порог избы.

Ее поддержала баба Мара.

Баба Мара, здоровущая, краснолицая старуха с серыми нахальными глазами, и Прохор – оба на взводе – уже не первый раз сегодня наведывались к нам. И каждый раз твердили одно и то же: где гостья? Почто прячете от людей?

На Милендьевне не было сухой нитки, она посинела и сморщилась от холода, как старый гриб, и Евгения первым делом стала снимать с нее мокрый платок и мокрую пальтуху, потом достала с печи нагретые валенки, натянула на них красные покрывки.

– Ну-ко, сапоги-то сырые стянем скорее да в баню пойдем.

– А вот в баню-то тебе, тета, как раз и нельзя, – веско сказал Прохор. Он сидел у малой печки и покуривал в душничок.

– Сиди! – прикрикнула на него Евгения. – Они шары нальют, не знай, чего начнут молоть.

– А чего не знай-то? По медицине.

– По медицине! Это в баню-то нельзя по медицине?

– Ну! У ей, может, воспаление легких. Тогда как?

Евгения заколебалась. Она посмотрела в растерянности на Милендьевну – та, тяжело дыша, с закрытыми глазами сидела на прилавке у печи, – посмотрела на меня – я еще меньше ее понимал в медицине – и в конце концов решила не рисковать.

Короче, Милендьевну вместо бани водворили на печь.

Баба Мара, которая все время, пока шел обмен мнениями насчет бани между Евгенией и Прохором, с усмешкой качала своей крупной головой в красном сатиновом повойнике, тут сказала:

– Ну, рассказывай, где была, чего видела.

– А чего надо, то и видела, – тихо ответила с печи Милендьевна.

– А ты нам скажи чего, – ухмыльнулась баба Мара. – Поди, опять на Богатке была да клады искала?

– Ладно, давай, – миролюбиво заметила Евгения, – чего ни искала, не наше дело. Вишь ведь, едва прибрела, едва дышит.

Баба Мара басовито захохотала, и я с удивлением увидел, что у нее целехоньки все зубы, да такие крепкие, крупные.

– Проха, ты сказывал, пожни колхозникам давать стали, те, которые кустом затянуло, а про расчистки наши ничего не сказывали?

Начался длинный и пустой разговор о расчистках, о целине.

Прохор потребовал от меня, как человека, по его словам, живущего в одном городе с главным начальством нашей жизни, ясного ответа: почему в южных краях заново распахивают целину, а у нас, наоборот, взят курс на ольху да осину? (Он так и выразился.)

Я что-то не очень определенно стал говорить о невыгодности земледелия в глухих лесных районах, и Прохор, разумеется, сразу же припер меня к стенке.

– Так, так, – воскликнул он не совсем своим голосом, не иначе как подражая какому-то местному оратору, – теперича невыгодно? А в войну, дорогой товарищ? Выгодно было, я вас спрашиваю, в период Великой Отечественной? Одне бабы, понимать, с ребятишками все до последней пяди засевали...

К Прохору немедленно присоединилась баба Мара – ей почему-то всегда доставляло удовольствие задирать меня.

Наконец я догадался, каким доводом сразить своих оппонентов, – бутылкой «столичной».

Правда, домовитой и экономной Евгении не очень по душе пришелся такой способ выпроваживания непрошенных гостей, но когда они, опустошив бутылку, с песней и в обнимку вышли на улицу, и она вздохнула с облегчением.

Свое окончательное отношение к гулякам Евгения выразила, когда стала убирать со стола, – она терпеть не могла всякий беспорядок и разор.

– Нет, видно, не только поля лесеют, лесеет и человек. Господи, слыхано ли ране, чтобы пьяные урвай в дом к Милентьевне врывались? Да скорее река пойдет вспять. Бывало, мамато идет, ребятишки возле взрослых шалют: «Тише вы, бесенята! Василиса Милентьевна идет». А когда пройдет мимо: «Ну, теперь дичайте. Хоть на голове ходите». Так вот ране маму-то почитали. Есть-то как будешь? – спросила Евгения у свекрови, которая все это время тихонько постанывала на печи. – Спустишься? Але на печь подать?

– Не надо, – чуть слышно ответила Милентьевна. – Потом поем.

– Когда потом-то? С утра ничего не ела. Ну-ко поешь. Хорошая у нас сегодня ушка, с перчиком.

– Нет, сыта я. У меня хлебцы с собой были.

Евгении так и не удалось уговорить свекровь поесть, и она снова засокрушалась:

– Вот беда-то. Что мне с тобой и делать-то? Ты, может, заболела, мама? Может, за фершалицей сходить?

– Нет, все ладно, отойду. Вот отогреюсь и встану. А вы – хорошо бы – губы прибрали.

Евгения только покачала головой:

– Ну, мама, мама! И что ты за человек? Да разве тебе сейчас про губы думать? Лежи ты, бога ради. Выбрось ты из своей головы эту лесовину...

Тем не менее Евгения подняла с полу берестяную коробку с грибами (несторь был пустой), и мы пошли на другую половину. Чтобы дать покой старому человеку.

Грибы на этот раз были незавидные: красная сыроежка, волнуха старая, серый конек, а главное, они не имели никакого вида. Какая-то мокрая мешанина пополам с мусором.

Проницательная Евгения из этого сделала совсем невеселый вывод.

– Вот беда-то, – сказала она. – Ведь Милентьевна-то у нас заболела. Я сроду у ей таких губ не видала.

Она вздохнула многозначительно.

– Да, да. Вот и мама стала сдавать, а я раньше думала – она железная. Ничего не берет. Ох, да при ейной-то жизни не то дивья, что она спотыкаться стала, а то, как она доселе жива. Муж – чего-то с головой сделалось, три раза стрелялся – каково пережить? Мужа схоронили – хлоп война. Два сына убито намертво, третий, мой мужик, сколько лет без вести пропал, а потом и Санюшка петлю на матерь накинута... Вот ведь сколько у ей переживаний-то под старость, на десятерых разложить много. А тут на одни плечи.

– Санюшка – дочь?

– Дочь. Разве не слыхал? – Евгения отложила в сторону кухонный нож, которым чистила грибы. – У мамы всего до двенадцати обручей слетало, а в живых-то осталось шестеро. Марфа,

старшая дочь, та, которая в Русиху выдана была, под ней шли Василий с Егором – оба на войне сгнули, потом мой мужик, потом Саня, а потом уж этот пьянчуга Иван. Ну вот, сыновей Милентьевна на войну спроводила, а через год и до Сани очередь дошла. На запань, лес катать выписали. Тоже как на войну... Ох и красавица же была! Я кабыть и в жизни такой не видела. Высокая, белая-белая, коса во всю спину, до колена будет – вся, говорят, в мать, а может, еще и покрасивше была. И тихая, воды не замутит. Не то что мы, сквалыжины. И вот через эту-то тихость она и порешилась. Налетела на какого-то подлеца – обрюхатил. Я не дивлюсь, нисколешеньки не дивлюсь, что так все вышло. Это кто всю жизнь под боком у родителей прожил да нигде не бывал, пушай ахает, а я с тринадцати лет в лес пошла – всего насмотрелась. Бывало, из лесу-то вечером в барак придешь – еле ноги держат. А они, дьяволы, не уробились, карандашиком весь день ворочали, так и зыркают на тебя. Ни разуться, ни переодеться – живо в угол затащут... И вот, может, и Сане маминой такой дьявол на дороге встал. Чего с ним сделаешь? Кабы у ей зубы были, она бы шуганула его куда следно быть, а то ведь ей и не сказать. Я помню, в праздник к нам перед войной, в Русиху, пришла – залилась краской: бабы глаз не спускают – как, скажи, ангелочек какой стоит, и парни ошалели – навалом лезут. А тут, может, еще мать, когда в дорогу собирала, острастку дала: чего хошь теряй на чужой стороне, доченька, только честь девичью домой приноси. Так, бывало, в хороших-то семьях наказывали. Не знаю, не знаю, как все вышло. Маму про это лучше не спрашивай – хуже врага всякого будешь.

Евгения прислушалась, заговорила разгоряченным шепотом:

– Хотела скрыть от людей-то. Никого, говорят, близко к мертвой дочери не подпустила. Сама из петли вынула, сама обмыла и сама в гроб положила. А разве скроешь брюхо от людей? Те же девки, которые с ней на запани были, и сказывали. Санька, говорят, на глазах пухнуть стала, да и Ефимка-перевозчик заметил. «Ты, говорит, Санька, вроде как не такая». А с чего же Санька будет такая, когда на Страшный суд идет. Ну-ко, глянь, дочи, в глаза родной матери, расскажи, как честь на чужой стороне блюла. И вот она, горюша горькая, подошла к родному дому, а дальше крыльца и ступить не посмела. Села на порожек, да так всю ночь и просидела. Ну, а светать-то стало, она и побежала за гумно. Не могла белому дню в глаза посмотреть, не то что матери.

Евгения, опять прислушиваясь, настороженно приподняла черные дуги бровей.

– Спит, верно. Может, еще и отлежится. Я спрашивала у мамы, – заговорила она на всякий случай опять шепотом, – неужели, говорю, уж сердце материнское ничего не подсказало? «Подсказало, говорит. Я в ту ночь, говорит, три раза в сени выходила да спрашивала, кто на крыльце. А светать-то стало, меня, говорит, так и ткнуло в сердце. Как ножом». Это она мне сказывала, не скрывала. И про то говорила, как сапоги на крыльце увидела. Подумай-ко, какая девка была. Сама помираю, жизнь молодую гублю, а про мать помню. Сам знашь, как с обувкой в войну было. Мы, бывалоче, на сплаве босиком бродим, а по реке-то лед несет. И вот Санюшка с жизнью прощается, а про мать не забывает, о матери последняя забота. Босиком на казнь идет. Так мама по ейным следочкам и прибежала на гумно. Не рано уж было, на другой день Покрова – каждый пальчик на снегу видно. Прибежала – а что, чем поможешь? Она уж, Санюшка-та, холодная, на пояску домотканом висит, а в сторонке ватничек честь по чести сложен и платок теплый на нем: носи, родная, на здоровье, вспоминай меня, горемычную...

Дождь на улице не прекращался. Старинные зарадужелые стекла в рамках всхлипывали как живые, и мне все казалось, что там, за окошками, кто-то тихонько плачет и скребется.

Евгения, словно читая мои мысли, сказала:

– Я страсть боюсь жить в этом доме. Мне уж не ночевать одной. Я не мама. Зимой как завоюет-завоует во всех печах да трубах, да кольцо на крыльце забрякает – хоть с ума сходи. Я попервости все Максима уговаривала: давай жить дома. Чего мы не видали на чужой стороне?

А теперь, пожалуй, и я нажилась. Зимой от нас и дороги к людям нету. На лыжах в Русиху ходим...

Милентьевна два дня лежала лежкой, и мы с Евгенией стали всерьез подумывать о вызове фельдшерицы. А кроме того, мы решили, что о ее болезни нужно известить ее детей.

Однако, к нашему счастью, ничего этого не потребовалось, на третий день Милентьевна сама слезла с печи.

И не только слезла, но и без нашей помощи добралась до стола.

– Ну как, бабушка? Поправилась?

– А не знаю. Может, совсем-то и не поправилась, да мне сегодня домой попадать надо.

– Домой? Сегодня?

– Сегодня, – спокойно ответила Милентьевна. – Сын Иван должен сегодня за мной приехать.

Евгения этим сообщением была огорошена не меньше, чем я.

– Да зачем Иван-то поедет по такому дождю? Посмотри-ко, на улице-то что делается? У тебя, мама, мозга на мозгу наехала, что ли?.. Ты ведь и грибов еще не наносила.

– Грибы подождут, а завтра школьный день – Катерина в школу пойдет.

– И это ты ради Катерины собираешься ехать?

– Надо. Я слово дала.

– Кому, кому слово дала? – Евгения аж поперхнулась от изумления. – Ну, мама, ты и скажешь. Она Катерине слово дала! Да вся-то Катерина твоя еще с рукавицу. Сопля раскосая. Была тут весной. В угол заберется – не докличешься.

– А какая ни есть, да надо ехать, раз слово дадено. – Милентьевна повернулась в мою сторону: – Нервенная у меня внучка, и с глазками девке не повезло: косит. А тут еще соседка девку вздумала пугать: «Куда, говорит, бабушку-то из дому отпускаешь? Не видишь разве, какая она старая? Еще умрет по дороге». Дак уж она, моя бедная, заплакалась. Всю ночь не выпускала из своих рук бабушкину шею...

Весь день Милентьевна высидела у окошка, с минуты на минуту поджидая сына. В сапогах, в теплом шерстяном платке, с узелком под рукой, – чтобы никакой задержки не было из-за нее. Но Иван не приехал.

И вот под вечер, когда старинные часы пробили пять, Милентьевна вдруг объявила нам, что раз сын не приехал, она будет добираться сама.

Мы с Евгенией в ужасе переглянулись: на улице дождь – стекла в рамках вспухли от водяных пузырей, сама она насквозь больная, попутные машины по большаку за рекой ходят от случая к случаю... Да это ведь самоубийство, верная смерть – вот что такое ее затея.

Евгения отговаривала свекровь как могла. Страшала, плакала, молила. Я тоже, конечно, не молчал.

Ничто не помогло. Милентьевна была непреклонна.

Она не кричала, не спорила с нами, а молча, потряхивая головой, накинула на себя пальтуху, увязала еще раз узелок со своими пожитками, прощальным взглядом обвела родную избу...

И тут, в эти минуты, я впервые, кажется, понял, чем покорила молодая Милентьевна пижемский зверюшник.

Нет, не только своей кротостью и великим терпением, но и своей твердостью, своим кремневым характером.

Я один провожал больную старуху за реку. Евгения до того распахивалась, что не могла даже спуститься на крыльцо.

Дождь не переставал. Река за эти дни заметно прибыла, и нас снесло метров на двести ниже бревна, к которому обычно примыкают лодку.

Но самое-то трудное нас ждало в лесу, когда мы вышли на лесную тропку. По ней, по этой тропке, и в сухое-то время хлопает да чавкает под ногой, а представляете, что делалось тут сейчас, после трех дней сплошных дождей?

И вот я брел впереди, месил ходуном ходившую болотину, хватался за мокрые кусты и каждую секунду ждал: вот сейчас это произойдет, вот сейчас хлопнется старуха...

Но, слава богу, все обошлось благополучно. Милентьевна, опираясь на своего верного помощника – легкий осиновый батожок, вышла на дорогу. И мало того, что вышла. Села на машину.

С этой машиной нам, конечно, повезло неслыханно.

Просто чудо какое-то случилось. Ибо только мы стали подходить к дороге, как там вдруг заурчал мотор.

Я остервенело, с яростным криком, как в атаку, бросился вперед. Машина остановилась.

К сожалению, места в кабине рядом с шофером не было: там сидела его бледная жена с новорожденным на руках. Но Милентьевна ни одной секунды не раздумывала, ехать или не ехать в открытом кузове.

Кузов был огромный, с высокими коваными бортами, и она нырнула в него как в колодец. Но под темными сводами ельника, плотно обступившего дорогу, я еще долго видел качающееся белое пятно.

Это Милентьевна, мотаясь вместе с грузовиком на ухабах и рытвинах, прощально махала мне своим платком.

* * *

После отъезда Милентьевны я не прожил в Пижме и трех дней, потому что все мне вдруг опостылело, все представилось какой-то игрой, а не настоящей жизнью: и мои охотничьи шатания по лесу, и рыбалка, и даже мои волхования над крестьянской стариной.

Меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир, мне захотелось работать, делать людям добро. Делать так, как делает его и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьевна, эта безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка из северной лесной глухомани.

Я уходил из Пижмы в теплый солнечный день. От подсыхающих бревенчатых построек шел пар. И пар шел от старого Громобоя, одервенело застывшего возле телеги у конюшни.

Я позвал его, когда проходил мимо.

Громобой вытянул старую шею в мою сторону, но голоса не подал.

И так же безмолвно, понуро свесив головы с тесовых крыш, провожали меня деревянные кони. Целый косяк деревянных коней, когда-то вскормленных Василисой Милентьевной.

И мне до слез, до сердечной боли захотелось вдруг услышать их ржанье. Хоть раз, хоть во сне, если не наяву.

То молодое, залиvistое ржанье, каким они оглашали здешние лесные окрестности в былые дни.

1969

Пелагея

Утром со свежими силами Пелагея легко брала полтораверстовый путь от дома до пекарни. По лугу бежала босиком, как бы играючи, полоща ноги в холодной травяной росе. Сонную, румяную реку раздвигала осиновой долбленкой, как утюгом. И по песчаной косе тоже шла ходко, почти не замечая ее вязкой, засасывающей зыби.

А вечером – нет. Вечером, после целого дня возни у раскаленной печи, одна мысль о возвратной дороге приводила ее в ужас.

Особенно тяжело давалась ей песчаная коса, которая начинается сразу же под угором, внизу у пекарни. Жара – зноем пышет каждая накалившаяся за день песчинка.

Оводы-красики беснуются – будто со всего света слетаются они в этот вечерний час сюда, на песчаный берег, где еще держится солнце. И вдобавок ноша – в одной руке сумка с хлебом, другую руку ведро с помоями рвет.

И каждый раз, бредя этим желтым адищем – иначе не назовешь, – Пелагея говорила себе: надо брать помощницу. Надо. Сколько ей еще мучиться? Уж не такие это деньги большие – двадцать рублей, которые ей приплачивают за то, что она ломит за двоих – за троих...

Но так говорила она до той поры, пока пересохшими губами не припадала к речной воде. А утолив жажду и сполоснув лицо, она начинала уже более спокойно думать о помощнице. А на той стороне, на домашней, где горой заслоняет солнце и где даже ветерком слегка потягивает, к ней и вовсе возвращался здравый смысл.

Неплохо, неплохо иметь помощницу, рассуждала Пелагея, шагая по плотной, уже слегка отпотевшей тропинке вдоль пахучего ржаного поля. Худо ли – все пополам: и дрова, и вода. И тесто месить – не надо одной руки выворачивать. Да ведь будет помощница – будет и глаз.

А будет глаз – и помои пожиже будут. Не пабахтаешь в ведро теста – поопасешься. А раз не набахтаешь, и борова на семь пудов не выкормишь. Вот ведь она, помощница-то, каким боком выйдет. И поневоле тут поразмыслишь да пораскинешь умом...

У мостков за лыву – грязную осотистую озерину, в которой, отфыркиваясь, по колено бродила пегая кобыла с жеребенком, – Пелагея остановилась передохнуть. Тут всегда она отдыхает – и летом, и зимой, с сорок седьмого.

С той самой поры, как встала на пекарню. Потому что деревенская гора немалая – без отдыха не осилить.

На всякий случай ведро с помоями она прикрыла белым ситцевым платком, который сняла с головы, поправила волосы – жиденькую бесцветную кудельку, собранную сзади в короткий хвостик (нельзя ей показываться растрепой на люди – девья мать), – затем по привычке подняла глаза к черемухову кусту на горе – там, возле старой, прокоптелой бани, каждый вечер поджидает ее Павел.

Было время, и недавно еще, – не на горе, у реки встречал ее муж. А осенью, в самую темень, выходил с фонарем. Ставь, жена, ногу смело. Не упадешь. А уж по дому своему – надо правду говорить – она не знала забот.

И утром печь истопит, и корову обрядит, и воды наносит, а ежели минутка свободная выпадет, и на пекарню прибежит: на неделю – на две дров наготовит. А теперь Павел болен, с весны за сердце рукой хватается, и все – и дом, и пекарня, – все на ней одной. Глаза у Пелагеи были острые – кажется, это единственное, что не выгорело у печи, – и она сразу увидела: пусто возле куста, нету Павла.

Она охнула. Что с Павлом? Где Алька? Не беда ли какая стряслась дома?

И, позабыв про отдых, про усталость, она схватила с земли ведро с помоями, схватила сумку с хлебом и зонко-звонко зашлепала по воде шатучими жердинами, перекинутыми за лыву.

Павел, в белых полотняных подштанниках, в мягких валяных бурках, в стеганой безрукавке с ее плеча, – она терпеть не могла этого стариковского вида! – сидел на кровати и, по всему виду, только что проснулся: лицо потное, бледное, мокрые волосы на голове скатались в косицы...

– На, господи, не вылежался! – выпалила она прямо с порога. – Мало ночи да дня – уже и вечера прихватываешь.

– Нездоровится мне ноне, – виновато потупился Павел.

– Да уж как ни нездоровится, а до угори-то, думаю, мог бы дойти. И сено, – Пелагея кивнула в сторону окошка за передком никелированной кровати, – срам людей с утра валяется. Для того я вставала ни свет ни заря? Сам не можешь – дочь есть, а то бы и сестрицу дорогую кликнул. Не велика барыня!

– День андела у Онисьи сегодня.

– Большой праздник! Отпали бы руки, ежели бы брату родному пособила.

Хлопая пыльными, все еще не остывшими сапогами, которые плотнее обычного сидели на затекшей ноге, Пелагея оглянула комнату – просторную, чистую, со светлым крашеным полом, с белыми тюлевыми занавесками во все окно, с жирным фикусом, царственно возвышающимся в переднем углу. Взглядом задержалась на ярко-красном платье с белым ремешком, небрежно брошенном на стул возле комода, на котором сверкали новехонькие, еще ни разу не гретые самовары.

– А та где, кобыла?

– Ушла. Девка – известно.

– Вот как, вот как у нас! Сам весь день на вылежке, дочи дома не оследится, а матери хоть убейся. Одной мне надо...

Пелагея наконец скинула сапоги и повалилась на пол. Без всякой подстилки. Прямо на голый крашенный пол. Минут пять, а то и больше лежала она недвижно, с закрытыми глазами, тяжело, с присвистом дыша. Потом дыхание у нее постепенно выровнялось – крашенный пол хорошо вытягивает жар из тела, и она, повернувшись лицом к мужу, стала спрашивать его о домашних делах.

Самая главная и самая тяжелая работа по дому была сделана – Алька и корову подоила, и травы на утро принесла. Еще ей радость доставил самоварчик, который, поджидая ее, согрел Павел, – не все, оказывается, давил койку человек, справил свое дело и сегодня.

Она встала, выпила подряд пять чашек крепкого чаю без сахара – пустым-то чаем скорее зальешь жар внутри, потом приподняла занавеску на окне и опять посмотрела в огород. Лежит сено, целый день лежит, а ей уж не прибрать сегодня – отпали руки и ноги...

– Нет, не могу, – сказала она и снова повалилась на пол, на этот раз на ватник, услужливо разостланный мужем. – За вином-то сходил – нет? – спросила она немного погодя.

– Сходил. Взял две бутылки.

– Ну, то ладно, ладно, мужик, – уже другим голосом заговорила Пелагея. – Надо вино-то. Может, кто зайдет сегодня. Много ноне вина-то закупают?

– Закупают. Не все еще уехали к дальним сенам. Петр Иванович много брал. И белого и красного.

– Как уж не много, – вздохнула Пелагея. – Большие гости будут. Антонида, говорят, приехала, ученье кончила. Не видал?

– Нет.

– Приехала – поминал даве начальник орса. Из района, говорит, на катере вместе с военным ехала, с офицером, – вроде как на природу поинтересоваться захотела. А какая природа? Жениха ловит, взамуж выскочить поскорее хочет. – Пелагея помолчала. – А тебе уж ничего не говорил? Не звал на чашку чая?

Павел пожал плечами.

– Вишь вот, вишь вот, как время-то бежит. Бывало, какое угощение у Петра Ивановича обходилось без нас? А теперь Павел да Пелагея не в силе – не нужны.

– Ладно, – сказал Павел, – у нас у сестры праздник. Была даже – звала.

– Нет уж, не гостя я ноне, – строго поджала губы Пелагея. – Рук-ног не чую – какие мне гости?

– Да ведь обида ей будет. День ангела у человека... – несмело напомнил Павел.

– А уж как знает. Не подыхать же мне из-за ейного ангела.

Как раз в эту минуту на крыльце зашаркали шаги, и – легка же на помине! – в избу вошла Анисья.

Анисья была на пять лет старше своего брата, но здоровьем крепкая, чернобровая, зубы белые, как репа, и все целехоньхи – не скажешь, что ей за пятьдесят.

Замуж Анисья выходила три раза. Первого мужа, от которого у нее был ребенок, умерший еще до года, убили на войне. Со вторым мужем ей пришлось расстаться в сорок шестом году, когда она попала в заключение (сноп жита унесла с поля). А третий муж – из вербованных, приехавший на лесозаготовки с Рязанщины (она его больше всех любила) – пропил у нее все до нитки, избил на прощанье и укатил к законной жене. После этого она уж больше семейного счастья не пыталась. Жила вольно, мужиков от себя не отпихивала – но и близко к сердцу не подпускала.

Брата своего Анисья не то что любила – обожала: и за то, что он был у нее единственный, да к тому же хворый, и за то, что по доброте да по тихости своей никогда, ни разу не попрекнул ее за беспутную жизнь. Ну, а перед невесткой, женой Павла, – тут прямо надо говорить – просто робела. Робела и терялась, так как во всем признавала ее превосходство. Домовита – у самой Анисьи никогда не держалась копейка в руках, – жизнь загадывает вперед и в женском деле – камень.

Провожая мужа на войну – а было ей тогда девятнадцать лет, – Пелагея сказала: «На меня надейся. Никому не расчесывать моих волос, кроме тебя». И как сказала, так и сделала: за всю войну ни разу не переступила порог клуба.

И, сознавая превосходство невестки, Анисья всякий раз, когда разговаривала с нею, напускала на себя развязность, чтобы хоть на словах стать вровень. Так и сейчас.

– Чего лежишь? – сказала Анисья. – Вставай! Вино прокиснет.

– Все ты со своим вином. Не напилась.

– Да ведь как. В такой день насухо! – Анисья кивнула брату. – Давай, давай – подымай жену. И сам одевайся.

Павел потупился. Анисья по-свойски взялась за его брюки, висевшие на спинке кровати.

– Не тронь ты его, бога ради! – раздраженно закричала Пелагея. – Человек не в здравье – не видишь?

– Ну тогда хоть ты пойдем.

– И я не пойду. Лежу как убитая. Еле ноги из заречья приволокла. Меня хоть золотом осыпь – не подняться. Нет, нет, спасибо, Онисья Захаровна. Спасибо на почести. Не до гостей нам сегодня.

Анисья растерялась. По круглому румяному лицу ее пошли белые пятна.

– Да что вы, господи! Самая близкая родня... Что мне люди-то скажут...

– А пушай что хошь, то и говорят, – ответила Пелагея. – Умный человек не осудит, а на глупого я век не рассчитываю. – Затем она вдруг посмотрела на Анисью своими сухими строгими глазами, приподнялась на руке. – Ты когда встала-то нынче? А я встала, печь затопила, траву в огороде выкосила, корову подоила, а пошла за реку – ты еще кверху задницей, дым из трубы не лезет. Вот у тебя на щеках и зарево.

– Да разве я виновата?

– А я на пекарню-то пришла, – продолжала выговаривать Пелагея, – да другую печь затопила – одно полено в сажень длины, – да воды тридцать ведер подняла, да черного хлеба сто буханок палила, да еще семьдесят белого. А уж как я у печи-то стояла да жарилась, про то я не говорю. А ты на луг-то спустилась, грабелками поиграла – слышала я, как вы робили, за рекой от ваших песен стекла дрожали – да не успела пот согнать – машинка: фыр-фыр. Домой поехали... – Пелагея перевела дух, снова откинулась на фуфайку, закрыла глаза.

Павел, избегая глядеть на сестру, примирительно сказал:

– Тяжело. Известно дело – пекарня. Бывал. Знаю.

– Дак уж не придете? – дрогнувшим голосом спросила Анисья. – Может, я не так приглашаю? – И вдруг она старинным, поясным поклоном поклонилась брату: – Брателко, Павел Захарович, сделай одолжение... Пелагея Прокопьевна...

Пелагея замахала руками:

– Нет, нет, Онисья Захаровна! Премного благодарны. И сами никого не звали, и к другим не пойдем. Не можем. Лежачие.

Больше Анисья не упрасивала. Тихо, с опущенной головой вышла из избы.

– Про людей вспомнила! – хмыкнула Пелагея, когда под окошком затихли шаги. – «Что люди скажут?» А то, что она за каждые штаны имается, про то не скажут?

– Что уж, известно, – сказал Павел. – Не везет ей. А надо бы маленько-то уважить. Сестра...

– Не защищай! Сама виновата. По заслугам и почет...

Павел на это ничего не ответил. Лег на кровать и мокрыми глазами уставился в потолок.

Таких домов, как дом Амосовых, теперь уж не строят.

Да и раньше, до войны, не много было в деревне.

Великан дом. Двухэтажный шестистенок с грудастым коньком на крыше, большой двор с поветью и сенником и сверх того еще боковая изба-зимница.

Вот с этой-то боковой избы-зимницы и начали разламывать дом – ее в сорок шестом году отхватила старшая сноха (у Захара Амосова четыре было сына, и только один из них, Павел, вернулся с войны). Затем потребовала своей доли вторая сноха – раскатали двор. И, наконец, последний удар нанесла Пелагея, решившая заново строиться на задах. По ее настоянию шестистенок разрубили пополам, и старого дома-красавца не стало...

Безобразная хоромина, напоминающая громадный бревенчатый аналой, стоит на его месте. В непогодь скрипит, качается, несмотря на то, что с двух сторон подперта слегами, а зимой еще хуже: суметы снега набивает в сени, кое-как прикрытые сзади старыми тесницами, и Анисья всю зиму держит в избе деревянную лопату.

И все-таки что там ни говори, а весело на Анисьиной верхотуре (нижняя изба, доставшаяся третьей снохе, заколочена), и Алька любила бывать у тетки.

Высоко. Вольготно. Ласточки у самого окошка шныряют. И все видно. Видно, кто идет-едет по деревенской улице, по подгорью, видно, как весной, в половодье, большие белопалубные пароходы vyplывают из-за мыса.

А кроме того, у тетки всегда люди – не то что у них на задворках. Бабы тащатся из лавки – кому похвастаться покупкой? Тетке. Рабочие на выходной пришли из заречья – где посидеть за бутылкой? У тетки. Все к тетке – и проезжая шоферня, и свой брат колхозник-пьяница, и даже военные без году неделя как понаехали, а к тетке дорожку уж протоптали.

В этот праздничный вечер Альку так и кидало из избы на улицу, с улицы в избу. Хотелось везде ухватить кусок радости – и у тетки, и на улице, где уже начали появляться первые пьяные.

– Ты ведь уже не маленькая сломя-то голову летать, – заметила ей Анисья, когда та – в который уже раз за вечер! – вбежала в избу.

– А, ладно! – Алька вприпрыжку, козой перемахнула избу, вонзилась в раскрытое настежь окошко. Самое любимое это у нее занятие – оседлать подоконник да глазеть по сторонам.

Вдруг Алька резко подалась вперед, вся вытянулась.

– Тетка, тетка, эвон-то!

– Чего еще высмотрела?

– Да иди ты, иди скорей! – Алька захохотала, заерзала на табуретке.

Анисья, наставлявшая самовар у печи, за занавеской, подошла к ней сзади, вытянула шею.

– А, вон там кто, – сказала она. – Подружки.

Подружками в деревне называли Маню-большую и Маню-маленькую. Две старухи бобылки. Одна медведица, под потолок, – это Маня-маленькая. А другая – ветошная, рвань-старушонка, да, как говорится, себе на уме.

Потому и прозвище – большая. К примеру, пенсия. Дождется Маня-большая этого праздника – сперва закупит чаю, сахару, крупы, буханок десять хлеба, а потом уж пропивает что останется. А Маня-маленькая не так. Маня-маленькая, как зубоскалили в деревне, жила одну неделю в месяц – первую неделю после получки пенсии. Тут уж она развешивалась: и день, и ночь шлепала в своих кирзовых сапожищах по улице, да с песнями, от которых стекла лопались в рамах. А потом Мани-маленькой не видно и не слышно было три недели. Холодная печь, три кота голодных вокруг да уголь на брус, которым она отмечала на потолке оставшиеся до получки дни.

Подружки стояли посреди пыльной улицы, по которой только что прогнали колхозное стадо. Маня-маленькая невозмутимо, в своем всегдашнем синем платке, повязанном спереди наподобие двускатной крыши, а Маня-большая, задрав кверху голову и слегка покачиваясь, что-то втолковывала ей, для убедительности размахивая темным пальцем у нее под носом.

– Чего-то вот тоже маракуют меж собой, – усмехнулась Алька.

– Люди ведь, – сказала Анисья.

– Манька-то маленькая вроде не в духе. Горло, наверно, сухое.

– С чего быть не сухому-то. У ей самая трезвость сичас. Это та хитрюга с толку сбивает. Вишь ведь, пальцем-то водит. Наверно, траву подговаривает продать.

– Какую? – Алька живо обернулась к тетке. – Это в огороде-то котора? Надо бы маме сказать. Сейчас за винище-то она дешево отдаст.

– Ладно, давай – чего старуху обижать. Не сейчас надо торговать.

– Тетка, – сказала немного погодя Алька, – я позову их?

– Да зачем? Мало они сюда бродят?

– Да ведь забавно! Со смеху помрешь, когда они начнут высказываться.

Анисья не сразу дала согласие. Не для них, не для этих гостей готовилась она сегодня – в душе она все еще надеялась, что невестка одумается – придет, а с другой стороны, как отказать и Альке? Пристала, обвила руками шею – лед крещенский растает.

Первой вспорхнула в избу Маня-большая, – легкая, в пиджачонке с чужого плеча, в мятых матерчатых штанах в белую полоску, женского – только платок белый на голове да платье поверх штанов, а Маня-маленькая в это время еще бухала своими сапожищами по крутой лестнице в сенях. В дверях согнулась пополам. Затем, перешагнув за порог, начала отвешивать поклоны в красный угол.

– Давай не в монастырь пришла, – съязвила Маня-большая, намекая на давнишнее прошлое своей товарки, когда та стирала на монахов.

– А что? – пробасила Маня-маленькая. – И не в сарай.

– Дура слепая! В углу-то у ей Ленин.

Алька захохотала.

– Ничего, – все так же невозмутимо ответила Маня-маленькая. – Власти от бога.
– Верно, верно, Егоровна, – сказала из-за занавески Анисья. – Пензию-то вам не бог платит. Проходите к столу.

– А стол-то у тебя не шатается, Ониса? Нет? – спросила с намеком Маня-большая.

– У тебя в глазах шатается, – усмехнулась Алька.

Тут с улицы донеслось чиханье и фырганье мотоцикла, и она быстрехонько вскочила на табуретку у окна. При этом шелковое, в красную полоску платье сильно натянулось сзади, и белая ядреная нога открылась поверх чулка.

– Алька, – полюбопытствовала Маня-большая, – какое у тебя там приспособление? Под самый зад чулок заправляешь.

– Пояс. Неуж не видала? – Алька удивленно выгнула круглую бровь – бровями она была в тетку, – спрыгнула с табуретки, приподняла подол платья.

– Ловко! – одобрительно цокнула языком Маня-большая.

– Како тако поесе под платьем? – Маня-маленькая, близоруко шуря и без того узкие монгольские глаза, вытянула шею. – Нуто те – трусики.

– Трусики! Печь бестолковый! Вот где у меня трусики-то. Смотри! – И Алька со смехом оттянула тугой розовый пояс.

– Тоже кабыть шелковые, – пробурчала Маня-маленькая.

– Я вся шелковая, – хвастливо объявила Алька и, придерживая руками подол платья, игриво повернулась на высоких каблуках.

– Алька, Алька, бесстыдница! – крикнула из-за занавески Анисья. – Разве так баско?

– А чего не баско-то? Не съедим.

– Нельзя так. Она еще ученица, – сказала Анисья и строго посмотрела на Маню-большую.

– Ученица! Нынешняя ученица – знаем: рукой по парте водит, а ногой парня ищет.

Алька! Кого я вчера видела – огороу с солдатом подпирает?

Алька нахмурилась:

– Ври, вралья! Буду я с солдатом. Я с солдатом-то близко никогда не стаивала.

– Ну, тогда с золотыми полосками. Так?

Против этого Алька возражать не стала.

– Вишь ведь, вишь ведь, – опять зацокала языком Маня-большая, – кровь в ей ходит! А колобашки-то! Колобашки-то! Колом не прошибешь!

– Хватит, хватит, Архиповна. Я отродясь таких речей не люблю.

– И я не люблю, – подала свой голос Маня-маленькая. – У ей все срам на языке. Я тоже девушка.

Тут Алька от смеха повалилась грудью на стол. А у Мани-большой так и запылал левый глаз зеленым угарным огнем – верная примета, что где-то уже подзаправилась.

И поэтому Анисья, не дожидаясь самовара, вынесла закуску – звено докрасна зажаренной трески, поставила на стол четвертинку – поскорее бы только выпроводить такую гостью.

– Пейте, кушайте, гости дорогие.

– Тетка сегодня именинница, – сказала Алька, вытирая слезы.

– Разве? – У Мани-большой от удивления оттянулась нижняя губа. – А чего это брата с невесткой нету?

– Не могут, – ответила Анисья. – Прокопьевна на пекарне ухлопалась – ни ногой, ни рукой пошевелить не может. А сам известно какой – к кровати прирос.

Маня-большая ухмыльнулась.

– Матреха, – закричала она на ухо своей глуховатой подружке, – мы кого сейчас видели?

– Где?

– У Прошичей на задворках.

– О-о! Ну то те – Павел Захарович с женой. В гости направились. У Павла сапоги свиркают – при мне о третьем годе покупал, и сама на каблучках, по-городскому... Богатые...

Больше полугода готовилась Анисья к этому празднику. Все, какие деньги заводились за это время, складывала под замок. Сама, можно сказать, на одном чаю сидела. А стол справила – пальцев не хватит на руках все перемены сосчитать.

Три рыбы: щука свежая, речная, хариусы – по фунту каждый, семга; три каши, три киселя; да мясо жирное, да мясо постное – нельзя Павлу жирного есть; да консервы тройные.

И вот сердце загорелось – все выставила. Натe, лопаите! Пускай самые распоследние гости стравят, раз свои побрезговали. Правда, звено красной – три дня мытарилa за него на огороде у Игнашки-денежки – она сперва не вынесла. А потом, когда опоясала с горя второй стакан, и семгу бросила на потраву...

Не стесняясь чужих людей, она безутешно плакала, как малый ребенок, потом вскакивала, начинала лихо отплясывать под разнoбойное прихлопыванье старушечьих рук, потом опять хваталась за вино и еще пуще рыдала...

Маня-большая, как кавалер, лапала раскрасневшуюся Альку. Та со смехом отпихивала ее от себя, била по рукам и под конец пересела к Мане-маленькой, которая низким, утробным голосом выводила свою любимую «Как в саду при долине...».

Вдруг Анисье показалось – в руках у Альки рюмка.

– Алька, Алька, не смей!

– Тетка, мы траву спрыскиваем. Я траву у Мани-маленькой торгую.

– Траву? – удивилась Анисья. И махнула рукой: а, лешак с вами! Мне-то что.

– Да я не обманываю, Онисья, – с обидой в голосе заговорила Маня-маленькая. – Когда я обманывала? У меня трава-то чистый шелк.

Алька начала трясти ее темную пудовую руку. К ним потянулась Маня-большая.

– Ну-ко, я колону. Может, и мне маленько отколется. Отколется, Матреха?

– Куда от тебя денешься? Выманишь...

Маня-большая, довольная, подмигивая, закурила, а Маня-маленькая опять зарокотала:

– Травка-то у меня хорошая, девка. Надо бы до осени подождать. В травке-то у меня котанушки любят гулять...

– Да твоим котанушкам по выкошенному-то огороду еще лучше гулять, – сказала Алька.

– Нет, не лучше. Травки-то им надо. Они из травки-то птичек выглядывают...

Маня-маленькая тяжело покачала головой и, обливаясь горячими слезами, затрубила на всю избу:

На мою на могилку,
Знать, никто не придет.
Только раннею весною
Соловей пропоет...

Ее стала утешать Маня-большая:

– Давай дак не стони. Расстоналась... Вон к Ониске и брат родной не зашел... В рожденье...

– Не трожь моего брата! – Тут к Анисье сразу вернулись трезвость. Она изо всей силы стукнула кулаком по столу, так, что посуда зазвенела. – Знаю тебя. Хочешь клин меж нас вбить. Не бывать этому!

– Алевтинка! Чего это она! Какая вожжа под хвост попала?

– А ну вас! – рассердилась Алька. – Натрескались. Одна белугой воет, другая чашки бьет.

Окончательно пришла в себя Анисья несколько позже, когда в избу вломились празднично разодетые девки в сопровождении трех военных.

Тот, у которого на плечах были золотые полоски, быстрыми блестящими глазами обежал избу, воскликнул, подмигивая Мане-большой (за хозяйку принял):

– Гуляем, тетушки?

– Маленько, товарищ... Старухи пенсионерки... – Маня-большая икнула для солидности. – Советская власть... Крепи оборону... Правильно говорю, товарищ?

– Уполне, – в тон ей ответил офицер, затем стал со всеми здороваться за руку.

– По-нашему, товарищ, – одобрила его Маня-большая и, повернувшись к Анисье, круто распорядилась: – А ты чего глаза вылупила? Не знаешь, как гостей принимают?

Место им досталось неважное – с краю, у комода, и не на стульях с мягкой спиночкой, а на доске-скрипучей полатнице, положенной на две табуретки.

Но Пелагея и этому месту была рада. Это раньше, лет десять – двенадцать назад, она бы сказала: нет, нет, Петр Иванович! Не задвигай меня на задворки. На задворках-то я и дома у себя насижусь. А я хочу к оконышку поближе, к свету, чтобы ручьем в оба уха умные речи текли. Да лет десять – двенадцать назад и напоминать бы не пришлось хозяину – сам стал бы упрашивать. А она бы еще так и покуражилась маленько.

Но ведь то десять-двенадцать лет назад! Павел тогда бригадир, самой ей в рот каждый смотрит – не перепадет ли буханка лишняя. А теперь незачем смотреть, теперь в магазинах хлеб не выводится. А ведь какова цена хлебу – такова и пекарихе. На что же тут обижаться?

Спасибо и на том, что вспомнил их Петр Иванович.

Когда от Петра Ивановича прибежал мальчик с записочкой, они с Павлом уже ложились спать. Но записочка («Ждем дорогих гостей») сразу все изменила.

Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта – этот на особицу, сын Петра Ивановича у него служит.

Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть – походишь, поклоняешься Аркашке-пилорамщику. А конюха взять. Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер шофером, а конюх конюхом. Придет зима да прижмет с дровами, с сеном – не Антохой, Антоном Павловичем назовешь.

Антониду с Сергеем, детей Петра Ивановича, они за столом уже не застали: люди молодые – чего им томиться в праздник в духоте?

Хозяйка, Марья Епимаховна, потащила было Пелагею на усадьбу – летнюю кухню показывать, – да она замотала головой: потом, потом, Марья Епимаховна. Ты дай мне сперва на людей-то хороших досыта насмотреться да скатерть-самобранку разглядеть.

Стол ломился от вина и яств. Петр Иванович все рассчитал, все усмотрел. Жена директора школы белого не пьет – пожалуйста шампанского, Роза Митревна. Лет десять, наверно, а то и больше темная бутылка с серебряным горлышком пылилась в лавке на полке – никто не брал, а вот пригодилась: спотешила себя Роза Митревна, обмочила губочки крашенные...

Петр Иванович всю жизнь был для Пелагеи загадкой.

Грамоты большой нету, три зимы в школу ходил, должности тоже не выпало – всю жизнь на ревизиях: то колхоз учитывает, то сельпо проверяет, то орс, а ежели разобраться, так первый человек на деревне. Не обойдешь!

И руки мягкие, век топора не держали, а зажмут – не вывернешься.

В сорок седьмом году, когда Пелагея первый год на пекарне работала, задал ей науку Петр Иванович. Пять тысяч без мала насчитал. Пять тысяч! Не пятьсот рублей.

И Павел тогда считал-считал, до дыр бумаги вертел – с грамотой мужик, и бухгалтерша считала-пересчитывала, а Петр Иванович как начнет на счетах откладывать, не хватает пяти тысяч, и все. Наконец Пелагея, не будь дурой, бух ему в ноги: выручи, Петр Иванович! Не

виновата. И сама буду век Бога за тебя молить, и детям накажу. «Ладно, говорит, Пелагея, выручу. Не виновата ты – точно. Да я, говорит, не для тебя это и сделал. Я, говорит, той бухгалтерше урок преподаю. Чтобы хвост по молодости не подымала». И как сказал – так и сделал.

Нашлись пять тысяч. Вот какой человек Петр Иванович!

Самым важным, гвоздевым гостем сегодня у Петра Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы.

Его пуще всех ласкал-потчевал хозяин. И тут голову ломать не приходилось – из-за Антонида, Антониды в школе служить будет – чтобы у нее ни камня, ни палки под ногами не валялось.

А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь невелика шишка, не партийный секретарь, еще весной сняли, шумно сняли, с прописью в районной газетке, и когда теперь вновь подымется?

А в общем, Пелагея недолго ломала голову над Афонькой. До Афоньки ли ей, когда кругом столько нужных людей! Это ведь у Сарки-брюшины, жены Антохи-конюха (вот с кем теперь приходится сидеть рядом!), никаких забот, а у нее, у Пелагеи, муж больной – обо всем надо самой подумать.

И вот когда председатель сельсовета вылез из-за стола да пошел проветриться – и она вслед за ним. Встала в конец огорода – дьявол с ним, что он, лешак, рядом в нужнике ворочается, зато выйдет – никто не переймет.

А перенять-то хотели. Кто-то вроде Антохи-конюха – его, кажись, рубаха белая мелькнула – выбегал на крыльцо.

Да, верно, увидел, что его опередили, – убрался.

Ну и удозорила – и о сене напомнила, и об Альке словцо закинула. С сеном – вот уж не думала – оказалось просто. «Подведем Павла под инвалидность, как на колхозной работе пострадавши. Дадим участок».

А насчет Альки, как и весной, о первом мае, начал крутить:

– Не обещаю, не обещаю, Пелагея. Пушай поробит годик-другой на скотном дворе. Труд – основа...

– Да ведь одна она у меня, Василий Игнатьевич, – взмолилась Пелагея. – Хочется выучить. Отец малограмотный, я, Василий Игнатьевич, как тетера темная...

– Ну, ты-то не тетера.

– Тетера, тетера, Вася (тут можно и не Василий Игнатьевич), голова-то смалу мохом проросла (наговаривай на себя больше: себя роняешь – начальство подымаешь).

Председатель – кобелина известный – потянул ее к себе. Пелагея легонько, так, чтобы не обидеть, оттолкнула его (не дай бог, кто увидит), шлепнула по жирной спине.

– Не тронь мое костье. Упаду – не собрать.

– Эх, Польшка, Польшка... – вздохнул председатель. – Какие у тебя волосы раньше были! Помнишь, как-то на вечерянке я протащил тебя от окошка до лавки? Все хотелось попробовать – выдержат ли? Золото – не косу ты носила.

– Давай не плети, лешак, – нахмурилась Пелагея. – Кого-нибудь другого таскал. Так бы и позволила тебе Польшка...

– Тебя! – заупрямился председатель.

– Ну ладно, ладно. Меня, – согласилась Пелагея.

Чего пьяному поперек вставать.

И вдруг почувствовала, как слегка отпотели глаза – слез давно нет, слезы у печи выгорели. Были, были у нее волосы. Бывало, из бани выйдешь – не знаешь, как и расчесать: зубья летят у гребня. А в школе учитель все электричество на ее волосах показывал. Нарвет кучу мелких бумажек и давай их гребенкой собирать...

Пелагея, однако, ходу воспоминаниям не дала – не за тем дожидалась этого борова, чтобы вспоминать с ним, какие у нее волосы были. И она снова повернула разговор к делу. Легко с пьяным-то начальством говорить: сердце наскрозь видно.

– Ладно, подумаем, – проворчал сквозь зубы председатель (головой-то, наверно, все еще был на вечерянке).

А потом – как в прошлый раз: «Отдай за моего парня Альку. Без справки возьмем». Да так пристал, что она не рада была, что и разговор завела. Она ему так и эдак: ноне не старое время, Васенька, не нам молодое дело решать. Да и Алька какая еще невеста – за партой сидит...

– Хо, она, может, еще три года будет сидеть.

(Альке неважно давалось ученье: в двух классах по два года болталась.)

Потом в психи ударился, в бутылку полез:

– А-а, тебе мой парень не гленется?

– Гленется, гленется, Василий Игнатьевич.

Тут уж Васей да Васенькой, когда человек в кураж вошел, называть не к чему. А сама подумала: с чего же твой губан будет гленуться? Ведь ты и сам не ягодка. Тоже губан – помню, не забыла, как до моей косы на вечерянках добирался.

На ее счастье, в это время на крыльце показался Петр Иванович (хозяин – за всеми надо углядеть), и она, подхватив председателя, повела его в комнаты.

Так под ручку с советской властью и заявила – пускай все видят. Рано ее еще на задворки задвигать.

И Петр Иванович тоже пускай посмотрит да подумает – умный человек!

А в комнатах в это время все сгрудились у раскрытых окошек – молодежь шла мимо.

– Пелагея, Пелагая! Алька-то у тебя...

– Апельсин! – звонко щелкнул пальцами Афонька-ветеринар.

– Вот как, вот как она вцепилась в офицера! Разбирается, ха-ха! Небось не в солдата...

– Мне, как директору, такие разговоры об ученице...

– Да брось ты, Григорий Васильевич, насчет этой моральности...

– Гулять с ученицей неморально, – громко отчеканил Афонька, – но которая ежели выше средней упитанности...

Тут, конечно, все заржали – весело, когда по чужим прокатываются, – а Пелагея не знала, куда и глаза девать.

Сука девка! Смалу к ней мужики льнут, а что будет, когда в года войдет?

Петр Иванович, спасибо, сбил мужиков с жеребятины, Петр Иванович налил стопки, возгласил:

– Давайте, дорогие гости, за наших детей.

– Пра-виль-но-о! Для них живем.

– От-ста-вить!

Афонька-ветеринар. Чего еще цыган черный надумал?

Вот завсегда так: люди только настроятся на хороший лад, а он глазищи черные выворотит – обязательно поперек.

– Отставить! – опять заорал Афонька и встал. – За нашу советскую молодежь!

– Пра-виль-но!

– За молодежь, Афанасий Платонович.

– От-ста-вить! Разговорчики!

Да, вот так. Встанет дьявол поджарый и начнет сквозь зубы команды подавать, как будто он не с людьми хорошими разговаривает, а у себя на ветеринарном участке лошадей объезжает.

– За всемирный форум молодежи! За молодость нашей планеты!

Вот и сказал! Начали было за детей, а теперь незнамо и за что.

– Пить – всем! – опять скомандовал Афонька. Черной головней мотнул, как ворон крылом. Глазами не посмотрел – прошагал по столу и вдруг уставился на Павла – Павел один не поднял рюмку.

– Афанасий Платонович, – заступилась за мужа Пелагея, – ему довольно, у него сердце большое.

– Я на-ста-иваю!

Подбежал Петр Иванович: не тяни, мол, соглашайся.

А тот ирод как с трибуны:

– Я прыщипально!

– Да выпей ты маленько-то, – толкнула под локоть мужа Пелагея и тихо, на ухо добавила: – Ведь он не отстанет, смола. Разве не знаешь? Да выпей, кому говорят! – уже рассердилась она (Афонька стоит, Петр Иванович внаклон). – Сколько тебя еще упрашивать? Люди ждут.

Павел трясущейся рукой взялся за рюмку.

– Ура! – гаркнул Афонька.

– Ур-рра-а! – заревели все.

Потом был еще «посошок» – какой же хозяин отпустит гостей без посошка в дорогу, – потом была чарка «мира и дружбы» – под порогом хозяин обносил желающих, – и только после этого выбрались на волю.

На крыльце кого-то потянуло было на песню, но Афонька-ветеринар (вот где пригодилась его команда) живо привел буяна в чувство:

– Звук! Пей-гулай – не рабочее время. А тихо, тихо у меня!

Следующий заход был к председателю лесхимартели, человеку для Пелагеи, прямо сказать, бесполезному. По крайности за все эти годы, что она пекарем, ей ни разу не доводилось иметь с ним дела, хотя, с другой стороны, кто знает, как повернет жизнь. Сегодня он тебе ни к чему, а завтра, может, он-то и встанет на твоей дороге.

В общем, не мешало бы и к председателю лесхимартели сходить. Но что поделаешь – Павел совсем раскис к этому времени, и она, взяв его под руку, повела домой.

– Летнюю-то кухню видел у Петра Ивановича? Сама говорит: рай. Все лето жары в доме не будет.

Павел ничего не ответил.

Пелагея рассказала мужу о своем разговоре с председателем сельсовета насчет сена и справки. При этом она не очень-то огорчилась, что председатель опять крутил насчет справки. Альке учиться еще год – в восьмой класс осенью пойдет, – и за это время можно найти ходы. Есть у нее кое-какая зацепка и в районе. Хоть тот же Иван Федорович из райисполкома. После войны сколько раз она выручала его хлебом – неужто ее добро не вспомнит?

Пелагею сейчас занимало другое – та загадка, которую задал ей Петр Иванович. Три года их в забвении держал, а сегодня позвал – с чего бы это?

Сама она ему не нужна, рассуждала Пелагея, это ясно.

Кончилось ее времечко – кто же нынче станет пекариху обхаживать? Давно люди набили хлебом брюхо. Может, на Альку виды имеет?

Слыхала она, что Сергей Петрович на ее дочь глаза пялит, и намекни ей Петр Иванович: так и так, мол, Пелагея, рановато мы с тобой компанию оборвали, кто знает, еще как жизнь-то распорядится, – да разве бы она не поняла?

Не намекнул.

Она думала: при прощанье шепнет. И при прощанье не шепнул. «Благодарю за уваженье. Благодарю». И все.

Иди, ломай себе голову.

Непонятым, подозрительным теперь казалось Пелагее и то, что позвали их к Петру Ивановичу второпях, когда все гости уже были в сборе. Неужто это не от самого Петра Ивановича шло, а от кого-нибудь другого?

От Васьки-губана? (Так по-уличному, сама с собою, называла она председателя сельсовета.)

Может, может так быть, решила Пелагея. Парень у губана жених. Постоянно возле их дома мотается. Да нет, Васенька, больно жирно. По зубам кусок выбирай. Топором-то нынче жизнь не завоеешь, а что еще твой сынок умеет? Смех! В город ездил, два года учился, а приехал все с тем же топором. На плотника выучился.

Павлу вечерняя свежесть не помогла. Он, как куль, висел у нее на руке.

Она сняла с него шляпу, сняла галстук.

– Потерпи маленько. Скоро уж. У меня у самой ноги огнем горят.

Да, чистое наказание эти туфли на высоком каблуке.

Кто их только и выдумал! В третьем годе они справили всю эту справу – и шляпу, и галстук, и туфли с высокими каблуками. Думали: с культурными да образованными людьми компанию водят, надо и самим тянуться. А и зря: за три года первый раз в гости вышли.

У Аграфениной избы остановились – Павел совсем огрузнел, и тут, как назло, – Анисья. Выперла на них прямо из-за угла, да не одна – с беспутными Манями.

Павел только увидел дорогую сестрицу, закачался, как подрубленное дерево. А она, Пелагея, тоже поначалу ни туда ни сюда, будто ум отшибло.

И еще одну глупость сделала – клюнула на удочку Мани-большой.

Та – шаромыжина известная:

– Что, Прокопьевна, вольным воздухом подышать вышли?

– Вышли, вышли, Марья Архиповна! Сам лежал, лежал на кровати: «Выведи-ко, жена, на чистый роздух...»

А как же иначе? Не у себя дома-на улице: хошь не хошь, а отвечай, коли спрашивают.

Об одном не подумала она в ту минуту – что бревно стоячее тоже иной раз говорит. А Матреха – мало того что бревно, еще и глуха – просто бухнула, а не заговорила:

– Почто врешь? Вы у Петра Ивановича были...

Вот тут и пошло, завертелось. Анисья – шары налила – давай высказываться на всю улицу: «Вы признавать меня не хотите... вы сестры родной постыдились... ты дом родительский разорила...» – это уж прямо по ее, Пелагеиной, части. Каждый раз, когда напьется, про дом вспоминает.

Ну, понятное дело, Пелагея в долгу не осталась. А как же? Тебя по заливку, а ты в ножки кланяться? Нет, получай сполна. И еще с довесом...

А тут Павлу сделалось худо, его начало рвать. А из окошка выглянула Аграфена Длинные Зубы: дождалась праздничка, есть теперь о что клыки поточить; Толя-воробышек прилетел... В общем, не надо в кино ходить. На всю улицу срамоту развели.

И только одно успокаивало Пелагею – не было поблизости хороших людей. Не было. А раз не было – пыль эта, поднятая у Аграфениной избы, до первого дождя.

– Ты как золотой волной накрывшись... Искры от тебя летят...

Так плел ей, рассказывал Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окошка за расчесыванием волос. А сама она из той встречи только и запомнила, что резкую боль в голове (лапу в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза. И уж, конечно, никак не думала, не гадала, что ихние дороги когда-нибудь пересекутся. Какой может быть пересек у простой колхозницы с начальником заречья? Шел мимо да увидел молодую бабу в окошке – вот и потешил себя, подергал за волосья.

А дороги пересеклись. Недели через полторы-две, под вечер, Пелагея полоскала белье у реки, и вдруг опять этот самый Олеша. Неизвестно даже, откуда и взялся. Как из-под земли вырос. Стоит, смотрит на нее сбоку да скалит зубы.

– Чего платок-то не снимаешь? Не холодно.

– А ты что – опять к волосам моим подбираешься? Проваливай, проваливай, покамест коромыслом не отводида! Не посмотрю, что начальник.

– Ладно тебе. Убыдет, ежели покажешь.

– А вот и убыдет. Ты небось в кино ходишь, билет покупаешь, а тут бесплатно хочешь?

– А сколько твой билет?

– Иди, иди с богом. Некогда мне с тобой лясы точить.

И в третий раз они встретились. И опять у реки, опять за полосканьем белья. И тут уж она догадалась: подкарауливал ее Олеша.

– Ну, говори, сколько твой билет стоит? – опять завел свою песню.

– Дорого! Денег у тебя не хватает.

– Хватит!

– Не хватает.

– Нет, хватает, говорю!

– А вот устрой пекарихой за рекой – без денег покажу.

Как уж ей тогда пришло это на ум, она не могла бы объяснить. И еще меньше могла бы подумать, что Олеша эти слова примет всерьез.

А он принял.

– Ладно, устрой. Показывай.

– Нет, ты сперва денежки на бочку, а потом руки к товару протягивай. – И тут Пелагея, к своему немалому удивлению, как бы рассмеялась и эдак шаловливо прискинула платок – дьявол, наверно, толкнул ее в бок.

И Олеша совсем ошалел:

– Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог – через неделю сделаю пекарихой. Я не шучу.

– А и я не шучу, – ответила Пелагея.

Через неделю она стала пекарихой – сдержал свое слово Олеша. Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил – вот как закружило человека.

Ну и она сдержала слово – в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:

– Ну, теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая...

Сколько лет прошло с тех пор, сколько воды утекло в реке! И где теперь Олеша? Жив ли? Помнит ли еще зареченскую пекариху с золотыми волосами?

А она его забыла. Забыла сразу же, как только закрыла за ним дверь. Нечего помнить. Не для улады, не для утехи переспала с чужим мужиком. И ежели сейчас этот топляк, чуть ли не два десятка лет пролежавший на дне ее памяти, вдруг и вынырнул на поверхность, то только потому, что, распуская на ночь свой хвостик на затылке – вот что осталось от прежнего золота, – она вспомнила про свой давешний разговор с Васькой-губаном.

Павел уже спал, похрапывая. Пелагея, как всегда, поставила кружку с кипяченой водой на табуретку, положила таблетки в стеклянном патроне и наконец-то легла сама. На перину, разостланную возле кровати, – чтобы всегда быть под рукой у больного мужа.

Она привыкла к храпу Павла (он и до болезни храпел), но нынешний храп ей показался каким-то нехорошим, будто душили его, и она, уже борясь со сном, приподняла свою отяжелевшую голову. Чтобы последний раз взглянуть на мужа. Приподняла и – с чего? почему? – опять ее, второй или третий раз сегодня, откинуло к прошлому.

Она подумала: догадался или нет тогда Павел насчет Олешки? Во всяком случае, назавтра, утром, когда она пришла домой, он ничем не выдал себя. Ни единого попрека, ни единого вопроса. Только, может, в ту минуту, когда заговорил о бане, немного скосил в сторону глаза.

– У нас баня сегодня, – сказал ей тогда Павел. – Когда пойдешь? Может, в первый жар?

– В первый, – сказала Пелагея.

И в то утро она два березовых веника исхлестала о себя. Жарилась, парилась, чтобы не только грязи на теле – в памяти следа не осталось от той поганой ночи.

Но след остался. И мало того, что она сейчас совсем некстати подумала о том, знал или не знал Павел про ее грех; это еще пустяк – кому важно теперь то, что было столько лет назад. А как быть, ежели время от времени, глядя на свою дочь, ты начинаешь думать об Олеше, по-матерински высчитывать сроки?

Не спуская глаз с тяжело дышавшего мужа, Пелагея и сейчас была занята этими вычислениями. На пекарню она поступила в сентябре, 11 числа. Алька родилась 15 апреля... Восемь месяцев... Нет, с облегчением перевела она дух, восьмимесячные не рождаются, рождаются семи месяцев, да и то еле живые. А про Альку этого не скажешь.

Алька, как кочан капуста, выкатилась из нее. Ни одной детской болезнью не болела.

Однако закравшееся в душу сомнение – не сорняк в огороде, который вырвал с корнем, и делу конец. Сомнение, как мутная вода, все делает нечистым и неясным.

И сколько ни доказывала себе Пелагея, что Алька никакого отношения не имеет к Олеше, полной уверенности в этом у нее не было.

Конечно, восьмимесячные не рождаются, да и какая мать не знает, кто отец ее ребенка, но откуда у девки такая шальная кровь? Почему она смалу за гулянку гонится? Раньше, до нынешнего дня, она не сомневалась: в тетушку Анисью Алька, от нее кипятки в крови, потому и невзлюбила ту, а сейчас и в этом уверенности не было.

Пелагея полежала еще сколько-то, повертела подушку под разгоряченной головой и встала. Все равно не заснуть теперь. До тех пор не заснуть, пока не взглянет на Альку.

Белая ночь была на исходе. Уже утренняя заря разливалась по заречью. А праздник был еще в полном разгаре. Наяривала гармошка в верхнем конце деревни (неужели все еще у председателя лесхимартели гуляют?), голосили пьяные бабы (эти теперь ни в чем не уступят мужикам), а на дороге, у Аграфениного дома, и совсем непотребное творилось: ребятишечки сопленосые в пьяных играли. Друг за дружку руками держатся, головенками мотают, что-то верещат – не то матюкаются, не то песни поют. Совсем как папы и мамы...

Пелагея пошла по полю: не дай бог нарваться на пьяного. Заговорит. Домой потащит. А то и лягнет – не теперь сказано: пьяному море по колено. Правда, за себя она не опасалась – даст сдачи. А что делать, когда дочь начнут в грязи валять?

Первый раз Пелагея накрыла Альку за шалостью, когда та училась еще в пятом классе. Зимой, в женский день.

В тот день как раз случилась у них беда – Манька, корова, заболела. Ветеринара дома нету – в районе. Что делать? Вспомнили про молодого зоотехника – все больше понимает, чем они сами. И вот с этим-то молодым зоотехником Пелагея и накрыла свою дочь. Целуются! В хлеву у коровы. В то самое время столковались, покамест мать за пойлом выходила. И добро бы только парень Альку лапал, а то ведь нет. То ведь Алька, как травина, оплела парня. Привстал, на цыпочки приподнялась, чтобы ненадежнее к губам припасть, да еще обеими руками за шею ухватилась. Вот что поразило тогда Пелагею.

С зоотехником разговор был короток. Зоотехника заслали в самую распродажную дыру в районе – в силе она в ту пору была. А дочь родную куда сошлешь?

Била, говорила по-хорошему – все напрасно. Кого где не видели под углом да за огородом, а Альку обязательно.

И если бы сейчас, к примеру, Пелагея натолкнулась на нее с парнем возле бани или амбара, она бы не подняла крик от неожиданности...

У клуба стоном стонала земля – такого многолюдья она давно уже не видела в своей деревне. А со стороны подгорья подходили все новые и новые люди. С лесопункта, из-за реки, из других деревень – моторы, начавшие завывать на реке с полудня, все еще не смолкли, – и были гости из района.

Тихонько и незаметно перебравшись через жердяную огороду, она хотела так же тихонько и незаметно подойти к крыльцу, возле которого танцевала молодежь, да не тут-то было!

– Сватья, сватьяшка! Ух, как хорошо! А я ведь к тебе собралась. Где, говорю, у вас Прокопьевна? Куды вы ее подевали?

Пелагея готова была разорвать свою сватьяшку, сестру жены двоюродного брата из соседней деревни, – так уж не к месту да не ко времени была эта встреча! А заговорила, конечно, по-другому, так, как будто и человека для ее дорожки на свете нет, чем эта краснорожая сука с хмельными глазами.

– Здорово, здорово, сватьяшка! – сказала нараспев Пелагея да еще и поклонилась: вот мы как свою родню почитаем. – На привете да на памяти спасибо, Анна Матвеевна, а худо, видно, к нам собиралась. Не за горами, не за морями живем. За ночь-то, думаю, всяко можно попасть...

В общем, сказала все то, что положено сказать в этом случае, и даже больше, потому что та дура пьяная кинулась обнимать да целовать ее, а потом потащила в круг.

– Посмотри, посмотри на свою дочь! Я посмотрела – глазам легче стало. Вот какая она у тебя красавица!

Так Пелагея и въехала в молодежный круг в обнимку со сватьей-пьяницей. Не закричишь: «Отстань, тварь пьяная», когда народ кругом. А через минуту она сама, по своей доброй воле, обнимала сватью. Не думала, не думала, что у нее в таком почете Алька.

Антонида Петровна с высоким образованием, а где?

На закрайке. С родным братцем топчется. А другая горожаха, председателя лесхимартели дочь, тоже ученая, та и вовсе не при деле – на выставке, а попросту сказать, со стороны смотрит.

А ее-то Алька! В самой середке, на самом верховище.

Да с кем? А с самим секретарем комсомольским из заречья.

Какая еще характеристика требуется? Разве станет партийный человек себя мараить – с худой девкой танцевать?

Но и это не все. Только Савватеев отвел Альку к девкам – офицер подошел. Тот самый, которого они видели давеча из окошек у Петра Ивановича. Молодой, красивый, рослый. Идет-выгибается, как лоза. А уж погоны на плечах горят – за десять шагов жарко.

– Солнышко, солнышко на кругу взошло!

Ну, может, и не солнышко, может, и через крайхватила сватья, а не одна она, Пелагея, засмотрелась. Вся публика стоячая смотрела. И даже молодежь: три раза Алька с офицером круг обошли, только тогда вышли еще две пары.

А Антонида Петровна так и осталась на бобах. Стоит в сторонке да ноготки крашенные кусает. И вот как все одно к одному – Петр Иванович подошел. Не усидел в гостях, захотелось и ему на свою дочь посмотреть.

Смотри, смотри, Петр Иванович, на своего ученого воробья (чистый воробей, особенно когда из-за толстых очков глазки кверху поднимает), не все тебе торжествовать. А я буду на свою дочь смотреть.

И Пелагея смотрела. Смотрела, высоко подняв голову. И как-то сами собой отпали все заботы и недавние тревоги. Ее дочь! Ее кровинушка верх берет!

Танец кончился быстро – короткий век у радости, – и Пелагея знаком подозвала к себе Альку: Петр Иванович стоит рядом с дочерью, а ей нельзя?

Алька подбежала скоком – глупа еще, чтобы девичьей поступью, но такая счастливая! Как если бы автомобиль выиграла по лотерейному билету.

А может, и выиграла, подумала Пелагея и незаметно для других скосила глаза на круг: где офицер? Что делает?

Офицер шел к ним. Шел не спеша, вразвалку и слегка обмахивая разогретое лицо белым носовым платком.

– Аля, познакомьте меня с вашей мамой.

Пелагея протянутую руку пожала, а чтобы сказать нужное слово – растерялась. Замолела что-то насчет жары.

Жарко, мол, нынче. И работать жарко, и веселиться жарко.

– Ничего, – сказал офицер, – мы свою программу выполним. Верно, Аля?

Алька разудало тряхнула головой: какое, мол, может быть сомнение. Выполним!

Пелагея еще не успела собраться с мыслями: как ей посмотреть на Алькину выходку? не пожурить ли для ее же пользы? – подошла Антонида Петровна.

– Аля, Владислав Сергеевич, не хотите ли чаю? У нас самовар готов...

Пелагее показалось чудным: с каких это пор у Петра Ивановича по ночам самовары стали греть? А потом сообразила: да ведь это Петр Иванович ради своей дочери старается.

– Нет, нет, Антонида Петровна, – быстро ответила за дочь Пелагея. – К нам милости просим. У нас гостя не поена, не кормлена – вот где пригодилась сватьяшка! – Алевтинка, чего стоишь? Приглашай молодежь. Будь хозяйкой.

Все это Пелагея говорила с улыбкой, а у самой земля качалась под ногами: что задумала? На кого руку подняла? И до самой школы не смела оглянуться назад.

Шла и затылком чувствовала разгневанный взгляд Петра Ивановича.

Раньше, до войны, дома в деревне стояли что солдаты в строю – плотно, почти впритык друг к другу, по одной линии. А чтобы при доме была баня, колодец, огород – этого и в помине не было. Все наособицу: дома домами, колодцы колодцами, бани банями – на задах, у черта на куличках.

Пелагея Амосова первой поломала этот порядок. Она первая завела усадьбу при доме. Баня, погреб, колодец и огород. Все в одном месте, все под рукой. И под огородом. Чтобы ни пеший, ни конный, никакая скотина не могла зайти к ней без спроса.

Позже, вслед за Пелагеей, потянулись и другие, и сейчас редкий дом не огорожен.

Но сколько она вынесла понапраслины! «Кулачиха! Деревню растоптала! Дом родительский разорила!..» Ругали все. Ругали чужие. Ругала Павлова родня. И даже в Москве ругали. Да, да, нашелся один любитель чужих домов из столицы. Пенял, чуть не плакал: дескать, какую красу деревянную загубили. Особенно насчет крыльца двускатного разорился. Что и говорить, крыльцо у старого дома было красивое, это и Пелагея понимала. На точеных столбах. С резьбой. Да ведь зимой с этим красивым крыльцом мука мученская: и воду, и дрова надо как в гору таскать. А в метель, в непогодь? Суметы снежные наладет, да так, что и ворота не откроешь.

Владислав Сергеевич, даром что молодой, сразу оценил усадьбу.

– Шикарно, шикарно живем! – сказал он, когда они шумной гурьбой подошли к дому.

Да, есть на что взглянуть. Углы у передка обшиты тесом, покрашены желтой краской, крыша новая, шиферная (больше двухсот рублей стоила), крылечко по-городскому, стеклом заделано – да с таким домком и в городе не последним человеком будешь. А уж привольно-то! Ширь-то кругом!

В сельсовете, когда Пелагея попросила пустырь за старым домом, ее на смех подняли: чудишь, баба. Даже Петр Иванович, при всем своем уме, усами заподергивал – не сумел на пять лет вперед заглянуть. А она заглянула.

Разглядела на месте пустыря лужок с душистым сеном под окошками. И теперь кто не завидует ей в деревне!

За рекой всходило солнце, когда она с гостями вошла на усадьбу. И, боже, что тут поделалось! Все засверкало, заиграло вокруг, потом, как в волшебной сказке, все стало алым: и лица, и крыша, и белые занавески в окнах.

Владислав Сергеевич то ли по недомыслию – городской все-таки человек, то ли ради шутки схватил у крыльца железную лопату и начал загребать сено.

Гам, визг поднялся страшный. А тут еще жару подбросила сватья. Сватья зачерпнула ковшом воды в кадке у крыльца, подбежала к Владиславу Сергеевичу: водой их, водой! И через минуту-две ни одного человека сухого не было. Все были мокры. И сено было мокро. Его свалили да вытоптали хуже лошадей. Но ничего ей не было сейчас жалко. Душа расходилась – сама смеялась пуще всех.

Смеялась... А в это время совсем рядом, за стеной в избе, без памяти лежал Павел, и смерть ходила вокруг него...

Нет, нет! Она не снимала с себя вины. Виновата. Нельзя было оставлять больного мужа без присмотра. Нельзя ходить по гулянкам да офицеров в гости зазывать, когда муж хворый. Ну, а с другой стороны, спрашивала себя Пелагея потом, много позже, что было бы тогда с Павлом, не окажись в ту минуту рядом Владислава Сергеевича?

Алька перепугалась насмерть, у самой у ней ум отшибло, фельдшер пьяный, без задних ног лежит у себя на повети...

А Владислав Сергеевич будто только тем всю жизнь и занимался, что помогал таким бедолагам, как они.

– Петренко! Тащи фельдшера к колодцу и до тех пор положи, пока он, сукин сын, в себя не придет. Федоров! Бери машину и на всех парах в район за доктором. Живо!

А кроме того, он и сам не сидел сложа руки, пока не подросла к Павлу медицина. Ворот у рубахи расстегнул, впустил в избу свежий воздух, все окна приказал раскрыть и еще капли Павлу в рот влил – да разве бы она, Пелагея, догадалась до всего этого?

Нет, нет, хоть и судачили, перемывали ей потом бабы косточки за этого офицера, а надо правду говорить: тогда, в то утро, если кто и спас от смерти Павла, так это он, Владислав Сергеевич.

* * *

Нынешняя болезнь Павла поначалу казалась Пелагее погибелью, крахом всей ее жизни.

Немыслимо, невозможно одной управиться и дома, и за рекой. Надо прощаться с пекарней. А без пекарни какая жизнь? Залезай, как улитка, в свою скорлупу на задворках да там и захорони себя заживо.

Но, слава богу, пекарню она удержала за собой. Выручила Анисья. Она с Алькой встала к печи.

Быстрее пошел на поправку, чем раньше думала, и Павел. Попервости районный доктор, как обухом, оглушил: «Паралич. Не видать тебе больше мужа на своих ногах...» А Павел поднялся – на пятнадцатый день в постели сел, а еще через три дня, опираясь на жену, вышел на крыльцо. В общем, устояли на этот раз Амосовы.

Днем и ночью две недели подряд сидела Пелагея возле больного мужа. Да вдобавок еще уйму всяких дел переделала: окучила картошку, лужок у Мани-маленькой выкосила... А корова и поросенок? А вода и дрова? А стирка? Это ведь тоже не сердобольные соседки за нее делали. А вот какой ужас эта пекарня – отдохнула! Как в отпуску побывала. Во всяком случае, так ей казалось, когда она после трехнедельного перерыва отправилась за реку.

Все внове было ей в тот день. И то, что она идет на пекарню среди бела дня, порожняком. Идет не спеша, любуясь ясным, погожим деньком, и то, что в поле пахнет уже не сеном, а молодым наливающимся хлебом. И внове ей была она сама – такая бодрая и легкая на ногу. Как будто добрый десяток лет сбросила. Единственное, что время от времени перекрывало ей радость, были сетования Анисьи на Альку. Анисья, возвращаясь с пекарни, чуть ли не каждый вечер заводила разговор об офицере. Зачастил, мол, в день не один раз заходит на пекарню. Нехорошо.

– Да что тут нехорошего-то? – возражала ей Пелагея. – Он ведь заказчик наш. С нашей пекарни хлеб для своих солдат берет. Почему и не зайти.

– Да не для заказа он ходит. Алька у него на уме.

– Ну уж, тетушка, осудила племянницу. Не осуждай, не осуждай, Онисья Захаровна. Чужие люди осудят. А хоть и пошालят немного, дак на то и молодые годы дадены. Мы с тобой свое отшалили...

– Все равно не дело это – с сеном огонь рядом, – твердила свое Анисья.

И вот в конце концов Пелагея собралась на пекарню, решила обоими глазами посмотреть, из-за чего разоряется тетка.

Река встретила Пелагею ласково, по-матерински. Оводов уже не было – отошла пора. Зато ласточек-береговушек было полно. Низко, над самой водой резвились, посвистывая.

Остановившись на утоптанной тропке возле травяного увала, Пелагея с удовольствием наблюдала за их игрой, потом торопливо потрусилась к спуску: у нее появилось какое-то озорное, совсем не по возрасту желание сбросить с ног ботинки и побродить в теплой воде возле берега, подошвами голых ног поласкать песчаный накат у дресвяного мыска.

Однако вскоре она увидела Антонида Петровну, или Тонечку, как Пелагея привыкла называть про себя дочь Петра Ивановича, и к реке сошла своим обычным шагом.

Тонечка загорала. На подстилке. С книжкой в руках.

Подстилка нарядная – большая зеленая шаль с кистями, которую зимой носила мать, – книжка, как огонь, в руках красная. А вот сама Антонида Петровна будто из войны вынырнула. Худенькая, тоненькая и белая-белая, как сметана, – не льнет солнце. Правда, глаза у Тонечки были красивые. Тут уж ничего не скажешь. Ангельские глаза. Чище неба всякого. Но сейчас и они были спрятаны под темными очками.

– Что, Антонида Петровна, – спросила Пелагея, – все красу наводишь? Солнышко на себя имашь? Имай, имай. По науке жить надо. Только что уж одна? На картинках-то барышни все с кавалерами загорают...

Ужалила – и пожалела. Обоих детей у Петра Ивановича легко обидеть. И Антонида, и Сережу. Бог знает, в кого они – беззащитные какие-то, безответные.

Стараясь загладить свою вину, Пелагея уже искренне, от всего сердца предложила Тонечке поехать за реку.

– Поедем, поедем, Антонида Петровна! Не пожалеешь. Я чаем тебя напою, не простым, с калачами круписчатыми – знаешь, как в песнях-то старинных поется? А загорать на той стороне еще лучше.

– Нет, нет, спасибо... Мне домой надо... – скороговоркой пролепетала Тонечка.

Пелагея вздохнула и – что делать – пошла к лодкам.

* * *

Все, все было на месте – и сама пекарня с большими раскрытыми окнами, и сосны разлапистые в белых затесах понизу, и колодец с воротом, и старая, местами обвалившаяся изгородь.

А она поднялась по тропинке к этой изгороди да почуяла теплый хлебный дух, какой бывает только возле пекарни, и расплакалась. Да так расплакалась, что шагу ступить не может.

У крыльца солдаты – дрова пилят – остановились:

«Что это, тетка, с тобой?» А разве тетка знает, что с ней?

Всю жизнь думала: каторга, жернов каменный на шее – вот что такое эта пекарня. А оказывается, без этой каторги да без этого жернова ей и дышать нечем.

И еще больше удивились солдаты, когда только что в голос рыдавшая тетка вдруг с улыбкой прострочила мимо них и без передышки взбежала на крыльцо.

А в пекарне – тоже небывалое с ней дело – не с чужим человеком, не с офицером сперва поздоровалась, а с печью, с квашней, со своими румянощековыми ребятками – так Пелагея в добрый час называла только что вынутые из печи хлебы, – все так и обняла глазами.

И только после этого кивнула Владиславу Сергеевичу.

Владислав Сергеевич, всерьез ли, для собственной ли забавы, стоял у печи с деревянной лопатой. В трусах.

Босиком. Но это еще ничего, с этим Пелагея могла примириться: городской человек, а сейчас и мужики в деревне запросто без штанов ходят. Но Алька-то, Алька-то бесстыдница! Тоже пуп напоказ выставила.

– Ты ошалела тут, срамница! – вспыхнула Пелагея. – Давай уж и это долой! – Она кивнула на Алькин лифчик и трусики из пестрого ситчика.

– Жарко ведь, – огрызнулась Алька.

– А жарко не жарко, да не забывайся: ты девушка!

Еще больше вознегодовала Пелагея, когда присмотрелась к пекарне. Попервости-то, ошалев от радости, она ничего не заметила: ни трех прогорелых противней, брошенных в угол за ведро с помоями (опять начет от бухгалтерии), ни забусевшей¹ стены возле мучного ларя (сразу видно, что без нее ни разу не протирали), ни обтрепанного веника у дверей (какая польза от такого?).

Но самый-то большой беспорядок – хлебы.

Одна, другая, третья... Двенадцать подряд буханок «мореных» и квелых, неизвестно где и печеных – не то в печи, не то на солнышке.

Но эти буханки еще куда ни шло: человек печет – не машина, и как совсем брака избежать? Да ведь и остальной хлеб у нее сиротой смотрит.

Пелагея заглянула в миску, из которой она обычно смазывала верхнюю корочку только что вынутой из печи буханки. Смазывала постным маслом на сахаре – уж на это не скупилась. Тогда буханку любо в руки взять. Смеется да ластится. Сама в рот просится. А эта чем смазывала? Пелагея метнула суровый взгляд в сторону Альки.

Простой водой?!

– Да разве ты первый раз на пекарне? – стала она отчитывать дочь. – Не видала, как мать делает?

– Ладно, – отмахнулась Алька, – исть захотят – слопают.

– Да ведь сегодня слопают, завтра слопают, а послезавтра и пекариху взашей!

– Испужали... Нашла чем страшить...

Вот и поговори с ней, с кобылой. На все у ней ответ, на все отговорка.

Нет, хоть и сказано у людей: какова березка, такова и отростка, – а не ейный отросток эта девка. Она, Пелагея, разве посмела бы так ответить своей матери? Да покойница прибила бы ее. А людям, тем и вовсе на глаза не показывайся. Ославят так, что и замуж никто не возьмет.

Раньше ведь первым делом не на рожу смотрели, а какова у тебя спина да каковы руки.

А у Альки единственная работа, которую она в охотку делает, это вертеться перед зеркалом да красу на себя наводить. Тут ее никакая усталость не берет.

¹ Бусеть – посереть, покрыться плесенью.

Война у Пелагеи с дочерью из-за работы идет давно, считай, с того времени, как Алька к нарядам потянулась, и сейчас, в эту минуту, Пелагея так распалилась, что, кажется, не будь рядом чужого человека, лопату бы обломала об нее.

Все же она сорвала свою злость.

Алька нехотя, выламываясь – нарочно так делала, чтобы позлить мать, стала натягивать на себя платье-халат.

И вот тут-то и подал свой голос до сих пор помалкивавший офицер.

– Мамаша не бывала в городе? – спросил он учтиво. – А там, между прочим, половина населения сейчас лежит у реки в таком же наряде, как Аля. И представьте, никто за это не наказывает.

– Дак ведь то в городе, Владислав Сергеевич, а то у нас... к нам городское житье неприменимо...

Офицер легонько пожал плечами (не мое, мол, дело указывать, не я здесь хозяин), но тоже привел себя в приличный вид – надел брюки.

Алька дулась. Забралась с коленями на табуретку, лицо в раскрытое окно, а матери – зад. Любуйся!

Пелагея быстро замыла забусевшую стену у мучного ларя, прошлась новым мокрым веником по пекарне – сразу пол заблестел, – прибрала на рабочем столе и вдруг подумала, а не зря ли она напустилась на девку. Девка худо-хорошо целыми днями работает. В жаре. В духоте.

А главное, Пелагее сейчас страшно неловко было перед офицером – он как раз в то время вернулся с улицы.

Офицер-то чем провинился перед ней? Тем, что Павла от верной смерти спас? Или, может, тем, что сейчас вот дрова им помогает распилить?

Пелагея живехонько преобразилась.

– Алевтинка, – сказала она ласковым голосом и улыбнулась, – ты хоть чаем-то напоила своего помощника?

– Когда чай-то распивать? Не без дела сижу...

– Да с делом ли, без дела, а помощников-то надо напоить-накормить. Ох, Алька, Алька! Захотела нонешних работников на колодезном пиве удержать.... – Пелагея еще приветливее, еще задушевнее улыбнулась, потом разом выложила карты: – Ставь самовар, а я за живой водой сбегаяю.

* * *

Пелагея любила чаевничать на пекарне. Самые это приятные минуты в ее жизни были, когда она, вынув из печи хлебы, садилась за самовар. Не за чайник – за самовар. Чтобы в самое темное время – зимой – солнце на столе было. И чтобы музыка самоварная играла.

Бывали у ней на пекарне и гости. Особенно раньше.

Кто только не забегал к ней тогда! Но – что говорить – такого гостя, по душе да по сердцу, как нынешний, у нее, пожалуй, еще не было.

Красавец. Образованный. И умен как бес – через стену все видит.

Пелагея не поскупилась – две бутылки белого купила. Думала, пускай и у солдат праздник будет. Заслужили: целую кучу вровень с крыльцом дров накололи. Да потом и то взять: начальнику-то ставь, да и помощников не забывай. Потому как известно – через помощников ведут двери к начальнику.

В общем, сунула стриженным ребятам бутылку. На ходу сунула, – никто не видал.

А вот какой у него глаз – увидел.

Только вошла она в пекарню с покупками, а он уж ей пальцем:

– А вот это, мамаша, непорядок! Солдат у меня не спаивать.

Сказал в шутку, с улыбочкой, но так, что запомнишь – в другой раз не сунешься.

Пелагея быстро захмелела. Не от вина – две неполные рюмки за компанию выпила. Захмелела от разговора.

Превыше всех благ на свете ценила она умное слово.

Потому что хоть и малограмотная была, а понимала, в какой век живет. Видела, чем, к примеру, всю жизнь берет Петр Иванович.

Но рядом с этим быстроглазым шельмой – так любовно окрестила про себя Пелагея Владика (сам настоял, чтобы по имени звала) – и Петр Иванович не колокол, а пустая бочка. И все-то он знает, все видел, везде бывал, а если уж словом начнет играть – заслушаешься.

К примеру, что такое та же самая «мамаша», которой он постоянно величал ее?

А самое обыкновенное слово, ежели разобраться. Не лучше, не хуже других. Родная дочь так тебя кличет, потому что родная дочь, а чужой человек ежели назовет – по вежливости, от хорошего воспитания. А ведь этот, когда тебя мамашей называет, сердце от радости в груди скачет. Тут тебе и почтение, и уважение, и ласка, и как бы намек. Намек на будущее. Дескать, чего в жизни не бывает, может, и взаправду еще придется мамашей называть.

Неплохо, неплохо бы иметь такого сыночка, думала Пелагея и уж со своей стороны маслила и кадила, как могла.

Но Алька... Что с Алькой? Она-то о чем думает?

Конечно, умных да хитрых речей от нее никто не требовал – это дается с годами, да и то не каждому, – да ведь девушка, не только речами берет. А глаз? А губы на что?

Или то же платье взять. Пелагею из себя выводил мятый, линялый халатишко, который натянула на себя Алька. Как можно – в том же самом тряпье, в котором мать возле печи возится! Или, может, нищие они?

Платья приличного не найдется? Она подавала дочери знаки – глазами, пальцами: переоденься, не срамись, а то хоть и вовсе растелишься. Чего уж париться, раз недавно еще расхаживала в чем мать родила.

Не послушалась. Уперлась, как петух. Просто на дыбы встала. Вот какой характер у девки.

Но и это не все. Самую-то неприкрытую дурость Алька выказала, когда Пелагея стала разговаривать с Владиком о его родителях. Простой разговор. Каждому по силам пряжа. И Пелагее думалось, что и Алька к ним сбоку пристанет. А она что сделала? А она в это самое время начала зевать. Просто подавилась зевотой. А потом и того хуже: вскочила вдруг на ноги, халат долой да, ни слова не сказав, на реку. Разговаривай, беседуй мать с кавалером, а мне некогда. Я купаться полетела. Пелагея от стыда за дочь глаз не решалась поднять на офицера. Но плохо же она, оказывается, знала нынешнюю молодежь! Владик – и минуты не прошло – сам вылетел вслед за Алькой. И не дверями вылетел, а окошком – только ноги взвились над подоконником. Про все позабыл. Про мать, про отца...

И Пелагея уже не сердилась на дочь. Разве на кобылку молодую, когда та лягнет тебя, будешь долго сердиться? Ну, поворчишь, ну, шлепнешь даже, а через минуту-другую уже любишься: бежит, ногами перебирает и солнце в бок несет.

И Пелагея сейчас, с тихой улыбкой глядя в раскрытое окно, тоже любовалась дочерью. Красивая у нее дочь.

Благословлять, а не ругать надо такую дочь. И ежели им, Амосовым, думала Пелагея, суждено когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку. Через ее красу. Через это золото норовистое, за которым сейчас гнался офицер.

* * *

Пелагея за этот месяц помолодела и душой, и телом.

Нет, нет, не отросли заново волосы, не налились щеки румянцем, а чувствовала себя так, будто молодость вернулась к ней. Будто сама она влюблена.

Да, обнималась и целовалась с Владиком Алька (как уж не целовалась с таким молодцом, раз для своих, деревенских, рот полым держала), а волновалась-то она, Пелагея. Так волновалась, как не волновалась, когда сама в невестах ходила. Да и какие волнения тогда могли быть? Павел хоть и из хорошей семьи (по старым временам у Амосовых первое житье по деревне считалось), а робок был. Сразу, как овечушка, отдался ей в руки.

А этот вихрь, огонь – того и гляди руки обожжешь, и что у него на уме – тоже не прочитаешь. «Мамаша, мамаша...» – на это не скупится, сено помог с пожни вывезти на военной машине, а карты свои не открывает. Ни слова насчет дальнейшей жизни.

Конечно, Альке спешить некуда – другие в это время еще в куклы играют. Да разговоры. Кому это нужно, чтобы на каждом углу трепали девкино имя? А потом – ученье на носу. Не думает же он, что и со школьницей гулять будет?

В общем, думала-думала Пелагея и надумала – созвать у себя молодежный вечер. Уж там-то, на этом вечере, она сумеет выведать, что у него на уме. Молодежные вечера нынче в деревне были в моде. Их устраивали и по случаю проводов сына в армию, и по случаю окончания детьми средней школы, а то и просто так, без всякого случая.

Всех лучше да памятнее вечера были, конечно, у Петра Ивановича – там уж всякой всячины было вдоволь: и вина, и еды, и музыки. А Пелагея на этот раз решила и Петра Ивановича переплюнуть.

Слыхано ли где, чтобы не было вина белого на столе и чтобы гости были пьяны? А у нее так будет. Пять бутылок коньяку выставит – деньги немалые, коньяк почти в полтора раза дороже белого вина, да чего жадничать?

Две-три буханки лишних скормить борову – вот и покрыта разница, зато будет разговоров у людей.

Постаралась Пелагея и насчет закуски. Рыба белая, студень, мясо – это уж ясно. Без этого по нынешним временам не стол.

А как насчет ягодок, Петр Иванович? Раздобыл бы ты, к примеру, морошки, когда ее еще на цвету убило холодом? А она раздобыла. За сорок верст Маню-маленькую сгоняла, и та принесла небольшой туесок, выпросила для больного у своей напарницы по монастырю – та, бывало, в любое лето должна была собирать морошки для архиерея.

О другой ягоде – малине – Пелагея позаботилась сама. Также и на малину неурожай в этом году – по угорам поблизости все выгорело, пришлось ей тащиться на выломки, за Ипатовы гари. И ох же на какую ягоду она напала! Крупную, сочную, нетронутую – сплошными зарослями, как одеяла красные по ручью развешаны.

Она быстро надоила эмалированное ведро, потом – раззадорилась – загнула коробку из бересты, да еще и коробку набрала.

Домой притащилась еле-еле – дорога семь верст, ноша в три погибели гнет, и за весь день сухарик в ручье размочила.

– Отец, Онисья! – заговорила она с порога, через силу улыбаясь. – Ругайте меня, дуреху. Ежели сказать, куда ходила, не поверите...

Ее удивило молчание Анисьи, праздно, без дела сидевшей у стола с опущенной головой. Потом она разглядела мужа. Павел лежал с закрытыми глазами, и попервости она подумала: спит. Но он не спал. Дышал тяжело, со всхлипами, лицо потное, и на сердце мокрая тряпица.

Неужели опять приступ?

Пелагея быстро поставила ведро и коробку с ягодами на стол.

– Где Алька? За фершалом побежала?

Анисья опять ничего не ответила.

– Где, говорю, Алька? Вернулась с пекарни?

– Нету Альки...

– Н-не-ту-у? – у Пелагеи ноги подкосились – едва мимо стула не села.

Так вот кто ей махал с парохода, когда она вышла из лесу к реке! Родная дочь. А она-то по-хорошему подумала тогда: вот, мол, какая девка у чьих-то родителей – чужому, незнакомому человеку машет.

– С тем, пройдохой, уехала? – спросила глухо Пелагея.

– Одна.

– Одна? Одна в город-то уехала? А тот где?

– Тот еще вчера уехал.

– Отец, отец... – истошным голосом заголосила Пелагея, – чуешь, что дочи-то у нас надделала?

Анисья вывела ее в сени и там окончательно добила: Алька в положении. Так по крайности она сказала тетке и отцу, когда днем, прибежав с пекарни, вдруг начала собираться в город.

* * *

...То не кустышки в поле расстоналися,
Не кукушица серая на жизнь плачется,
То у нас в селе вдова народилася...

Так, такими бы словами, запомнившимися с детства, хотелось Пелагее выплакать свое горе. А еще больше ей хотелось бухнуть прямо на колени и принародно покаяться перед мужем: «Прости, прости, Павел Захарович! Это я, я довела тебя до могилы...»

Но она не сделала ни того, ни другого.

Она стояла, пошатываясь, возле красного гроба рядом с рыдающей, распухшей от слез Анисьи и крик держала за зубами. Потому что кто поверит ей? Кого тронет ее плач?

Проводить Павла в последний путь собралась вся близкая и дальняя родня. Свои, деревенские, – это само собой, иначе и быть не может, но, кроме них, приехала из города двоюродная сестра Павла, приехал дядя-пенсионер из лесного поселка, прилетел Павлов племянник, офицер...

Не было возле покойного только его родного детища – Альки.

Павел помер на третий день после бегства дочери из дому, и где было ее искать? В городе? В дороге? А в общем, думала Пелагея, может быть, и лучше, что не торчит возле гроба Алька. Она, Пелагея, чувствует себя преступницей, не смеет глаза поднять на людей, а что сказать об Альке? Не хотела Алька смерти отца – это ясно, а все-таки после ее суматошного отъезда помер, она, единокровная дочь, помогла отцу сойти в могилу. И если теперь, в ее отсутствие, до слуха Пелагеи (она стояла в ногах у покойного) то и дело доходил пересудный шепот сердобольных баб: «Вот какие пошли нынче деточки... Живьем готовы закопать в могилу родителя... Рости их, дрожи над ними...» – то что было бы, если бы тут была Алька!

Хоронили Павла и по-старому, и по-новому.

Дома все было по-старому. И власти, надо говорить правду, не мешали. Пока старушонки окуривали гроб ладаном да негромко тянули «Святой Боже», власти стояли на улице у крыльца и покуривали. Правда, Афонька-ветеринар влетел было по пьянке в избу, закричал, чтобы сейчас же прекратили издеваться над беспартийным большевиком, но его быстро утихомирили. Сами же власти, Василий Игнатьевич да Петр Иванович, просто вытолкали из избы.

Новый обряд начался на кладбище, когда над раскрытым гробом стали говорить речи:

– Беззаветный труженик... С первого дня колхозной жизни на трудовой вахте... Честный. Пример для всех... Никогда не забудем...

И вот тут-то Пелагея дрогнула. Все выдержала: причитания, осуждающие взгляды, пересудные шепотки – не пошевелилась, не охнула. Стояла у гроба как каменная. А начали речи говорить – и земля зашаталась под ногами.

– Беззаветный труженик... С первого дня колхозной жизни... Честный... Пример для всех...

Пелагея слушала-слушала эти слова и вдруг подумала: а ведь это правда, святая все правда. Безотказно, как лошадь, как машина, работал Павел в колхозе. И заболел он тоже на колхозной работе. С молотилки домой на санях привезли. А кто ценил его работу при жизни? Кто сказал ему хоть раз спасибо? Правленье? Она, Пелагея?

Нет, надо правду говорить: она ни во что не ставила работу мужа. Да и как можно было во что-то ставить работу, за которую ничего не платили?

А вот сейчас Павла хвалили. И ей вдруг жалко стало, что Павел не слышит этих похвал.

А еще, глядя на покойника в гробу, на его неподвижное восковое лицо с закрытыми глазами, на его большие, очень бледные руки, скрещенные на груди, она подумала, что это ведь лежит Павел, ее муж, человек, с которым – худо-хорошо – она прожила целую жизнь...

И тогда она заплакала, заревела во все горло. И ей теперь было все равно, что скажут о ней люди, какую грязь кинут в Альку...

* * *

Вот и дождалась она долгожданного отдыха...

Утром вставала поздно, не спеша. Не спеша топила печь, пила чай, затем отправлялась в лес.

Грибы да ягоды были ее страстью смалу. И ежели кому и завидовала Пелагея все эти годы, работая на пекарне, так это грибницам да ягодницам. А теперь ей незачем было завидовать. Теперь она сама могла по целым дням ходить по лесу.

И она ходила. Ходила по знакомым с детства холмикам и веретийкам, по мызам, по старым расчисткам, отдыхала у ручейка, у речки, всматривалась в их густую осеннюю синеву, слушала крики журавлей, собачий лай...

Но много ли ей одной надо? Три раза сходила за солехами да два раза за обабками, натолкла ушатик ягод, а зачем еще?

Несколько дней у нее ушло на уборку картошки. Картошка уродилась ядреная, крупная – с двух грядок она набила погреб, а за баней оставалась еще грядка, и ей бы радоваться надо да Бога благодарить, а она опять спрашивала себя: зачем? К чему ей столько картошки?

Она изнывала, изнемогала, ожидаючи писем от Альки.

А та не писала. Уехала – и ни единой весточки. Как в воду канула. И она кляла, ругала дочь самыми последними словами: «Сука! Зверь бездушный! Мало тебе смерти отца, дак ты и мать хочешь в могилу свести». А потом ожесточение проходило, и она еще पुще жалела дочь.

Где она теперь? Что делает? В чужом городе... Без паспорта...

Однажды Пелагея, решив засолить для Альки ведерко рыжиков – ведь должна же она когда-нибудь объявиться, – уплелась далеко, верст за пять от дому, и неожиданно для себя вышла на Сургу, к коровьему стаду.

День был сухой, светлый, солнце грело по-летнему, и вообще весь сентябрь был на редкость красивый, словно сам бог решил вознаградить ее за все те годы, что она провела на пекарне.

Сургу она знала вдоль и поперек – семь лет тут возилась с коровами до того, как стала на пекарню. И у нее и в мыслях не было, чтобы спускаться с лесистого ягодного угора вниз к дояркам. Зачем? Чего она там не видала?

Но тут вдруг затарахтел мотор, коровы, как по команде, потянулись к длинному двускатному навесу из белого шифера, под которым их доили, и она заколебалась: что такое эта электродоилка? Уже два года как установлена в колхозе, а она и не видала.

Скотницы встретили ее шутками:

– Дак вот почему мы без ягод да грибов! Вор повадился в наши леса.

– Нет, не потому, – возразил им пастух Олекса Лапин, который, сидя у огонька, попивал чаек, – а потому, что много спите.

– А и верно, что много, – согласились скотницы.

Скотницы смеялись, скалили зубы. И не удивительно: машина доила коров, а они только подмывали вымя да приставляли к соскам резиновые наконечники с длинными шлангами, по которым молоко перекачивалось в морозные алюминиевые бидоны. Вот и вся работа ихняя.

А как они, бывало, работали! Руки выворачивали на этой дойке. А холод-то? А дождь? А каково это каждый день два раза мерять дорогу – от деревни до Сурги и от Сурги до деревни? Грязь страшная, до колена, – и где уж тут присесть на телегу. Хоть бы бидоны-то с молоком лошадь вытащила. А теперь – машина. С брезентовым верхом. И как тут не смеяться да не точить ляды!

Все, все было сейчас иным, чем раньше, в ее время.

Даже коровы и те стали какими-то другими. Бывало, как на живодерню, тащишь буренку на дойку. Глотку сорвешь, пока подоишь. А сейчас она сама рвется к доильне, потому что там ее соль-лизунец да концентрат ждут.

– От Али новостей нету?

Если бы Лида Вахромеева не заговорила сама, Пелагея так бы и не признала ее. Красавица! Румянец во всю щеку. Да разве это та сопливая девчонка, которая в прошлом году хотела нарушить себя?

Лиде Вахромеевой грамота, как и Альке, давалась туго, в седьмом классе была оставлена на осенние экзамены, и вот отец – чистый кипяток! – распорядился: «В скотницы! Раз человекчей грамоты не понимаешь, коровью учи!»

Лида плакала, умоляла отца, мать, валялась в ногах у председателя, из города дядю военного призывали – только бы не в навоз, не к коровам. А сейчас – посмотреть на Лиду – и человека счастливее ее нету. Смеется.

Во весь рот смеется. От души. А уж одета – картина!

Одни сапожки на ногах пятьдесят рублей стоят. Вот какие нынче деньжищи огребают скотницы.

И тут Пелагея с тоской подумала об Альке. О том, что и Алька могла бы работать дояркой. А почему бы нет? Чем это не работа?

Всю жизнь, от века в век, и мать ее, и бабка, и сама она, Пелагея, возились с навозом, с коровами, а тут вдруг решили, что для нынешних деточек это нехорошо, грязно. Да почему? Почему грязно, когда на этой грязи вся жизнь стоит?

В этот день Пелагея много плакала. Плакала в лесу, когда рассталась с доярками, плакала по дороге домой.

И особенно много плакала дома, когда вошла в пустую избу.

* * *

Болезнь подкралась к Пелагее незаметно, вместе с осенними дождями и сыростью, и она была для Пелагеи мукой. Не умела Пелагея болеть. Она была в мать.

Та еще за три дня до смерти просила у нее работы: «Дай ты мне чего-нибудь поделать. Я ведь жить хочу».

Пелагея не думала, понятно, о работе на пекарне – где уж ей теперь тащить такой воз? – но об одной работе она думала всерьез. На другой день после встречи со скотницами на Сурге, утром, когда она еще лежала в постели, ей вдруг пришло в голову, а почему бы ей самой не стать снова дояркой. Работа на вольном воздухе, машина в помощниках, мотаться пешедралом не надо – да неужели не справится?

Три дня она жила этой мыслью. Три дня она, что бы ни делала, куда бы ни шла, только и думала о том, какой переполох в деревне вызовет ее возвращение в колхоз.

– Слыхали, что Пелагея-то выкинула?

– Ну и ну!

– Она может. Железная!

А на четвертый проснулась утром и – куда девалось хваленое железо? – не пошевелить ни рукой, ни ногой.

И нет дыхания – сперло в груди.

К полудню она все-таки расхотелась и даже погреб принялась утеплять, но с этого дня силы ее начали убывать.

Она сопротивлялась болезни, целыми днями делала что-нибудь возле дома: то прибирала дрова, то убирала и жгла мусор, то конопатила чулан – всегда зимой один угол промерзает – и часто-часто выходила на горочкин угор, откуда хорошо видно пекарню.

Если была сухая погода, она садилась к черемуховому кусту, у которого раньше поджидал ее больной Павел, и подолгу глядела за реку.

О многом думалось тут, в душистом затишье, многое вспоминалось – и хорошее, и плохое, – но чаще всего Пелагея возвращалась мыслью к первым дням работы на пекарне, к той безрассудной, прямо-таки бесшабашной смелости, с которой она бросилась в бой за новую жизнь.

Нет, не в том она видела смелость, что переспала с чужим мужиком. Припрет нужда да голод – с самим дьяволом переспишь. А уж они с Павлом хватили нужды да голода после войны. В сорок шестом году на глазах у них зачах их первенец, их единственный сын. Зачах оттого, что у матери начисто пересохли груди. И разве могла она допустить, чтобы и второго ребенка у них постигла та же участь?

Смелость свою она видела в другом. В том, что не побоялась пойти против всех. Против председателя колхоза, который рвал и метал, что у него выхватили лучшую доярку, против колхозников («Это за какие такие заслуги такие корма Палаге?»), против Дуньки-пекарихи и ее родни.

И вот одолела. Всех положила на лопатки. Одна. За один месяц. А чем? Какой силой-хитростью? Хлебом. Теми самыми хлебными буханками, которые выпекала на пекарне. Их, свое хлебное воинство, бросила на завоевание людей. И завоевала. Никто не мог устоять против ее хлеба – легкого, душистого, вкусного и сытного.

* * *

В октябре Пелагею дважды навещала фельдшерица и дважды уговаривала ехать в районную больницу. Но Пелагея в ответ только качала головой. Зачем она поедет туда? Чем помогут ей районные врачи? Да разве и сама она не знает, что у нее за болезнь?

Сколько раз за эти годы перекладывали печь на пекарне! А уж об отдельных кирпичачах и говорить нечего – их меняли каждый год. Не выдерживали жары, лопались...

Так ведь то кирпичи – из глины, камень, можно сказать. А что же сказать о человеке? О ней, о бабе, которая за эти восемнадцать лет и одного дня не отдыхала?

Вот и развалилась, распалась сейчас, вот и не может по целым дням оторваться от постели...

К Пелагее редко кто заходил. Маню-большую она выставила сама; с Анисьей, золовкой, рассчиталась сразу же после Павловых похорон: свыше сил было видеть ее, свидетельницу собственного позора; Петр Иванович не заглядывал – это само собой. К чему она ему теперь?

Единственно, кто навещал ее в эти холодные осенние дни, – это Лида Вахромеева, Алькина подружка. Та забегала. И воды приносила, и дров, и всякие деревенские новости рассказывала. Но, по правде сказать, Пелагея не особенно зазывала Лиду. Потому что очень уж тоскливо было после ее ухода. Просто белый день сменялся ночью.

Днем Пелагея все помаленьку топталась по избе. Да днем и лежать повеселее. Днем за окошком жизнь. То кто-нибудь проедет на лошади или на тракторе, то соседка пробренчит ведрами, направляясь за водой к колодцу, то, на худой конец, ворона прокаркает – тоже жизнь.

А ночью как в могиле. Ночью караул кричи – не докричишься. Только разве Афонька пьяный фарами поиграет на никелированных самоварах, что стоят на комодке.

Афонька, когда переберет, места себе не может найти.

Всю ночь, как нечистая сила, разъезжает на мотоцикле.

Из улицы в улицу, из заулка в заулочок. И, ох же, как выходила из себя Пелагея, когда Афонькины громы среди ночи раскатывались под ихними окошками! Все, какие ни есть на свете, кары призывала на Афонькину голову.

А теперь, в эти длинные осенние ночи, только и радости у нее было, когда на улице появлялся пьяный мотоциклист...

В Октябрьскую Пелагея чувствовала себя не лучше, не хуже, чем накануне. Но встала она в этот день задолго до рассвета. Затопила печь, напекла шанежек, ватрушек, пирожков с мясом и изюмом, закатала рыбник, затем подмыла пол, переменяла скатерть на столе, принарядилась сама.

Больше всех праздников любила она Октябрьскую.

Целый день, бывало, с раннего утра звенит радость в ихнем доме. Сперва сборы на демонстрацию Павла да Альки, примерка обнов – это уж обязательно: к каждому празднику обнов! – потом, часов с одиннадцати, когда демонстрация появлялась в ихнем околотке, зайцы-сугревники (так Пелагея про себя называла начальство, которое забегало к ней пропустить рюмочку для тепла): Петр Иванович, председатель сельсовета, колхозный председатель... Да каждый тайком, с оглядом, чтобы разговоров лишних не было. А в избу-то забежали – тоже с потехой.

Кто дьячком, кто козой проблеет от порога: «Не согреют ли в этом доме плоть мою промерзшую?»

Весь день просидела Пелагея у окошка, взглядываясь сбоку, из-за занавески, в деревенскую улицу.

Демонстрации в этом году опять не было. Три года назад умерла школьница от гриппа (будто бы ноги во время демонстрации промочила), и с той поры перестали ходить с красными флагами по деревне.

Поглядела-поглядела Пелагея на развеселых мужиков да баб – весь день гужом перли то к Анисье, то от Анисьи, – повздыхала, поплакала и в сумерках, не зажигая огня, прилегла на кровать.

И вот не успела сомкнуть глаз – шаги на крыльце, а потом кольцо брякнуло в воротах.

Она так и привстала на кровати. Кто вспомнил ее в этот день?

Маня-большая. Ее бесовский глаз запылал в темноте под порогом.

Пелагея и раз, и двахватила открытым ртом воздух, а сказать – и слов нету: до того поражена она была нынешним приходом Мани. Ведь это же надо: нарочно придумывать – не придумать такого оскорбления!

Наконец она собралась с духом.

– Не ошиблась адресом? – спросила она не своим, а чужим словом, запавшим ей в голову от кого-то из прежней компании. Потом, подумав, что до Мани такое не дойдет,хватила как

обухом по голове: – А может, богатством Христовым пришла похвастаться? Обновками? Как сборы-то ноне?

Христово богатство – это платки, полотенца, одежонка некорыстная, отрезы ситцевые, шерсть овечья и даже кое-какая мелочишка из денег – в общем, все то, что верующие по обету вешают и кладут у «моленных» крестов.

Эти «моленные» кресты стали появляться возле деревень, в лесу, еще в военную пору. Устройства они самого простого. Тесаный и врытый в землю крест – редкость.

А чаще всего так: срежут у нетолстой ели или сосны ствол этак метра на два, на три от земли, пролысят, как кряж, предназначенный на дрова, затем набьют поперечную перекладину – жердяной обрубок, бросят зачем-то к комлю несколько камней – и крест, напоминающий какое-то языческое, дохристианское капище, готов.

Местные безбожники, конечно, не дремали – беспощадно вырубали «моленные» кресты. Но разве вырубешь лес?

Маня-большая уже который год кормилась возле этих крестов. Она, как охотник свой путик, регулярно, под каждый праздник, обегала кресты в округе.

Однако напрасно взвинчивала себя Пелагея – не сорвала свою злость на старухе.

Маня-большая не только не бросилась опроретью вон из избы, как это сделал бы каждый на ее месте. Маня-большая даже не поморщилась. Села на прилавок к печи, сарафанишко поверх матерчатых штанов в белую полоску выше колена вздернула, нога на ногу, да еще и закурила.

Вот эта-то Манина наглость и отрезвила Пелагею, а то один бог знает, что и было бы: у нее хорошие-то люди без спроса не курили в доме, так разве позволила бы она какому-то огрызку!

Нет, подумала Пелагея, что-то у ней есть, не с пустыми руками пришла, коли барыней расселась. И этак издалека – на прощуп – спросила:

– Что в мире-то ноне деется? Какими новостями живут люди?

– Да есть кое-чего. Не без того же, – уклончиво ответила Маня.

– Грызут друг друга?

– Пошто грызут? Кто грызет, а кто и радуется.

– Да, да, – вздохнула Пелагея, – верно это, верно. Кто и радуется.

– Давай дак не вздыхай. Ты и сама не без радостей.

– Я? – Пелагея от удивления даже приподнялась.

– Знамо дело.

– Что ты, что ты, плетня... Мужа схоронила, сама не могу...

Маня против этого не возражала.

Значит, об Альке вести, догадалась Пелагея, и так ей вдруг легко стало, будто лето спустилось в избу.

Она быстро встала с постели.

– Вот ведь какое со мной горе! Гостья пришла, а я лежу как бревно. Ты уж прости, прости меня, Марья Архиповна, недотепу, – неожиданно для себя заговорила она своим прежним, полузабытым голосом, тем самым обволакивающим и радушным голосом, против которого никто, даже сам Петр Иванович, не мог устоять. – Все одна да одна, совсем из ума выжила. Нет, нет, Марья Архиповна! Мы сейчас за самоварчик да за рюмочку – праздник сегодня. Да ты кури, кури, Маша, не стесняйся. Я, бывало, когда хозяин во здоровье был, сама покупала папиросы. Да сапожки-то, может, снять, не томи ты свою ножку, я валенки теплые с печи достану...

Новость, которую поведала Маня (конечно, после того, как опрокинула три рюмки, – Пелагея сразу поняла, что насухо из старухи ничего не вырвешь), превзошла все ее ожидания: Альке сельсовет выслал справку на паспорт.

– Да ты не врешь, Маша? Не перепутала чего? – переспросила Пелагея и – не могла удержаться – всплакнула: ведь из-за этой самой справки она жизнь себе укоротила, можно сказать,

даже в постель слегла. К губану ходила, колхозного председателя молила, Петра Ивановича жалобила – все без толку. «Не то время сейчас, – сказал ей Петр Иванович. – Поворот молодежи в сторону деревни даден. Подожди». А как же ждать? Девка в городе и без паспорта – да это хуже, чем в глухом лесу заблудиться.

И вот спала гора с плеч – Алька с паспортом.

– Да когда это было-то? – все еще до конца не веря, опять стала допытываться Пелагея.

– Позавчерась.

– Позавчерась? И у тебя хватило терпенья, Марья Архиповна, утаивать такую весть от матери?

– Матерь-та эта еще не знаешь, как и встретит...

– Ну, ну, – живо замахала руками Пелагея, – чего старое вспоминать. На солнце и на то затемнение находит, а наш брат – баба глупая... Говори, говори, Марья Архиповна!

– Да чего говорить-то? Василий Игнатьевич вчера в лавке сказывал. «Совсем, говорит, уплыла от нас девка. Военная часть справку требует...»

– Ну и дали справку-то?

– Да как не дашь-то? Говорю, – армия требует...

– Армия?.. – повторила с раздумьем Пелагея. – Дак ведь это он, Владик, хлопочет... Ей-богу, Маша! Господи! – воскликнула Пелагея и прослезилась. – Вместях, значит? Вдвоем? А я-то все времечко убиваюсь, места не могу себе прибрать...

– Матерь, – многозначительно заметила Маня.

– Хотела бы, хотела бы я на ихнее счастье посмотреть, – мечтательно разоткровенничалась Пелагея. – Да нет, не ускочишь. Как на привязи сидишь у болезни. А та сука сама не догадается письма написать. Вот ведь какие нынче деточки-то пошли. Матерь вынь да положь, когда припрет, а когда у них все хорошо да ладно, они о матери-то и не вспомнят...

Маня, утешая Пелагею, сказала, что письмо придет, никуда не денется и что раньше Альке и писать было не о чем – только мать расстраивать, раз с паспортом нелады, потом вдруг предложила:

– А терпежу нету – выписывай командировку. В два счета слетаю.

– Ты? В город?

– А чего? Обрисую положение. Все как есть.

Пелагея строго поджала губы – это уж всегда, когда ей надо было на что-то решиться. При этом она быстро прикинула, во что может обойтись ей Манина поездка.

Рублей в сорок. Дорого. Чуть ли не месячная зарплата на пекарне. А с другой стороны, подумала она, что деньги?

Неужели ее собственный покой ничего не стоит?

– Рублей двадцать пять дам, – сказала осторожно Пелагея.

– За четвертак в город? Шлепай сама! – Маня-большая быстро и деловито начала загибать пальцы: – Билет туда да обратно семнадцать шестьдесят. Так? Пить-исть надо? Фатера да суточные положено? Ну и хоть небольшие северные – на сугрев старухе... – Маня хихикнула.

После недолгих торгов сошлись на тридцати пяти рублях, не считая, конечно, подорожников, которые напечат Пелагея.

* * *

Маня ездила в город девять дней – на целых три дня больше, чем они договаривались, – и Пелагея последние ночи почти не спала. Все передумала. Самые худые мысли допускала об Альке.

А тут еще завернули морозы. Где старушонка? Уехала в кирзовых сапогах, налегке – не свалило ли в дороге?

Наконец вернулась Маня.

В избу вошла – ни дать ни взять чучело огородное: фуражка военная со светлым козырьком поверх шали, завязухи, рукавицы – с крупного мужика – по локоть, какая-то шубешка драная шерстью наружу... В общем, как догадалась Пелагея, вешала на себя все, что давали сердобольные люди.

Пелагея вмиг преобразила старуху: на ноги теплые валенки с печи, телогрею собственную дала, тоже заранее нагретую на печи, а затем и стопку белой. Как самой дорогой и желанной гостье.

– Ну как она? – нетерпеливо спросила, когда сели к столу. (Самовар уж кипел – третий день с утра до ночи стоял под парами.)

– Хорошо живет. На большой! – ширнула простуженным носом Маня и для убедительности подняла прокуренный палец. – Фицианкой работает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.